

О. САРСЕНБАЕВ

ЮЖНЫЙ ГОРИЗОНТ

ОРАЗБЕК САРСЕНБАЕВ

# Южный горизонт



**ОРАЗБЕК САРСЕНБАЕВ**

# • ЮЖНЫЙ ГОРИЗОНТ

• ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

• АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД С КАЗАХСКОГО

• Герольда БЕЛЬГЕРА



• ИЗДАТЕЛЬСТВО „ЖАЗУШЫ“ — АЛМА-АТА — 1975

**Сарсенбаев Оразбек.**

**С 20** Южный горизонт. Повести и рассказы. Авториз. пер. с казах. Г. Бельгера, Алма-Ата, «Жазушы», 1975.

224 стр.

Повести «Жар-птица» и «Излучина», включенные в книгу Оразбека Сарсенбаева, посвящены жизни казахского аула в период социалистических преобразований в степном краю и в годы минувшей войны. В них изображены живые люди с их радостями и горестями, счастливыми и нелегкими судьбами. Искренне верит в существование птицы счастья кетменщик Бекбаул, герой повести «Жар-птица», через трудные испытания и ошибки приходит он к пониманию настоящего счастья, которое можно добыть только честным трудом. Не ищет ничьей жалости и прощения Агабек, который умирает, так и не появившись, зачем он жил и чего достиг, страдает нежная Жанель, так и не нашедшая любви и понимания, — герои повести «Излучина».

Интересны и рассказы, вошедшие в сборник. Лиричные и увлекательные, гневные и жизнеутверждающие, они привлекают своеобразием решения основных проблемных вопросов, стоящих перед людьми и обществом.

Каз 2

С  $\frac{70303 \ 34}{402(07)75}$  129—75



ПОВЕСТИ

## I

Снег валил второй день и плотно укрыл необозримую степь. Он был мягок, пушист, в нем играли переливаясь многоцветные искорки. Колючий тростник и кряжистые кусты вырядились в мохнатые белые шапки. Горизонта не видно. Будто слились небо и земля. Вокруг простиралось безмолвие, окутанное белым покрывалом. К обеду начала рассеиваться тускло-серая хмарь, и на небе высветилось пятнышко. Там, наверное, и было солнце.

Степь словно заворожена тишиной, дремлет под уютным покровом. Хлопотуньи-сороки суетятся, мечутся от куста к кусту, сухо шелестя крыльями. Ошалело вспархивают из-под ног жаворонки. Легкий сухой морозец приятно пощипывает щеки. На чуть-чуть темнеющей сквозь снег тропинке дымится свежий помет.

Ленивой, валкой походкой идет с побережья Бекбаул. Пятый день по приказу председателя он ремонтирует зимовье скотоводов на берегу Сырдарьи. За долгое лето почему-то всегда недосуг заняться зимним стойбищем, а когда надвигаются холода и во все щели свищет ледяной сквозняк, начальство, как водится, хватается за голову и бьет тревогу. Хорошо, что даже в самую стужу в густых зарослях побережья неизменно тепло и безветренно, иначе отощавший скот не дотянул бы до весны. Сено, подвезенное к стойбищам, давно кончилось. Особенно трудно сейчас мелкому скоту: овцам и козам. Снег глубок, до подножного корма не доберешься. Вот и пасут их на склонах холмов, где торчит из-под снега чахлая трава терискен и верблюжья колючка. Бекбаулу-то, соб-

ственно, все равно. Он за это не ответчик. И все же болит душа при виде всех этих беспорядков. Как-никак всю жизнь живет в ауле и толк в скотоводстве знает. Душа болит, а сам молчит. Недавно на ферму пожаловал председатель в сопровождении главного бухгалтера колхоза Таутана. И тогда Бекбаул не сказал ни слова. Зачем? Без него разве не обойдутся? Ведь все равно хвала и хула достанутся начальству. А он кто? Простой колхозник. Он должен знать свой кетмень и свои вилы. И весь с него спрос. Трудодни идут. Он сыт. Ну и ладно.

Так подумал Бекбаул и рассмеялся. Однако тут же спохватился и оглянулся по сторонам. В степи он был один. До аула оставалось немного. Из оврага по правую руку потянулось стадо коров. Пестрые, тугобрюхие коровы шли медленно, покачиваясь, исполненные важности и достоинства. Им, буренкам, тоже некуда торопиться. Немудренная, монотонная жизнь степного аула. А вон и пастух показался. Сидит на гривастой лошаденке, дремлет, даже шапка съехала набок. Куда ему спешить?

Не спешит и Бекбаул. Идет — еле ноги тащит. Нет, он ничуть не устал. С чего бы? Для тридцатилетнего здоровья часок-другой возни на свежем воздухе — сущая забава. Просто привык он никуда не спешить. Сама природа живет размеренной, спокойной жизнью. Посмотришь на родную степь, оглянешься вокруг — кажется, тут и за тысячу лет ничего не изменилось. Те же горы, похожие на верблюжьи горбы, те же перевалы, та же сонная безбрежность. И люди вроде бы те же. И тысячу лет назад были, наверное, такие же гривастые коняги, и такие же пастухи, быть может, так же дремали в седлах. А может, и по-другому все было. Бекбаулу это неизвестно. С самого рождения он знает и видит степь только такой.

Мягкий, нетронутый снег слегка поскрипывает. Значит, есть морозец. Да и к голенищам снег не пристаёт. Воздух чист, прозрачен. Приятно бодрит и грудь распирает. Бекбаул сильно щурится. Он вдруг представляет себя крохотной черной точкой в бесконечном белом пространстве. Чудится ему, будто эта точка равномерно перемещается, как часовой маятник. До чего же огромен, необъятен этот мир! Странно, иногда так явственно ощущаешь себя частицей его. Словно в самом себе слышишь дыхание мира. С первого же шага на земле человек по-

стоянно чувствует себя неотъемлемой частью природы. Когда это ощущение исчезает, ты уходишь в небытие. Это не только человек, но и зверь, и птица, и всякая тварь чувствует.

Да-а... повседневная жизнь, привычные картины. Во всей округе Шаулимше не найдешь, пожалуй, не искоженных Бекбаулом с детства такыров, тропинок и оврагов. На севере, вздымая хребет, стоит древняя гора Каратау. На юге — бесконечным арканом вьется строптивая Сырдарья. А что там дальше — Бекбаул не знает. И реки не переплывал и за горами не бывал. Тут, на пространстве между Каратау и Сырдарьей, издревле обитают два рода: многочисленный Кипчак и смирный, как овца, Конрат. Земля здесь пропитана потом и кровью мужчин и женщин этих родов, и потому никто из живущих ныне на этом плоскогорье не променяет его на самый сказочный райский уголок. Лихие были времена, степь, рассказывают, стонала под тяжестью людского горя, но и тогда священной памяти предки не покидали родного края. А посмотришь вокруг — вроде бы и любоваться нечем. Камни, что ли? Пески? Степь? Реки, озера? Экая невидаль! Где этого нет?! Но есть что-то таинственное, трудно постижимое в любви и привязанности присырдарьинских казахов к родной земле. С раннего детства, едва постигнув смысл отдельных слов, Бекбаул и его ровесники слышали от древних стариков и старух удивительные предания, сказания и легенды о своих предках, о прошлом родного края. С юных лет глубоко запали в их души причудливые рассказы об исчезнувших таинственных городах Отрар, Сыганак, Жолек, Окши-Ата, Жунис-Ата, Сайрам, Балапан-тюбе, Жундикум, Кызыл-там, Камыскала, Яна-курган, Чулак-курган, о бесстрашных батырах, свято оберегавших честь родной земли. Поглаживая белые бороды, незаметно внушали старики своим внукам и правнукам сладкую и гордую мысль о том, что побережье Сырдарьи — колыбель племени казахов. Говорили старики и о том, что сыновняя любовь к родному краю вовсе не сопряжена с пренебрежительным отношением к незнакомой земле.

Тому, кто любит родную степь, она всегда желанна. Она одинаково радуется и храбреца с пылким сердцем в груди и презренного труса, боящегося собственного дыхания. Кто не чувствует влечения к прекрасному? С хо-

рошим человеком хоть десять раз на дню встречайся — не наскучит. Так и Бекбаул: никак не может насладиться, налюбоваться чудом притихшей зимней степи.

До аула рукой подать. Тропинка пролегла через рощицу поредевшего саксаула. Бекбаул заметил свежие следы колес: кто-то проезжал недавно на арбе. Следы на снегу не привлекли, однако, его внимания. Мало ли кто мог проехать? Но уже через несколько шагов он невольно остановился. На чистом, искрящемся снегу между колеями желтели ядреные пшеничные зерна. Это его насторожило. Откуда в безлюдной степи пшеница? Ясно, что тот, кто проезжал недавно на арбе, и просыпал невзначай несколько горстей... Интересно. Урожай давно убран. Семенная пшеница на складе, а склад под замком.

Бекбаул поднял несколько зерен, покатал на ладони. Да-а... не с овина пшеничка. Чистая, без плевел. Неужели кто-то на склад пробрался? Не может быть. Как-никак там охранник с ружьем. Да и председатель Сейтназар не из тех, кого можно облапошить средь бела дня. Надо, пожалуй, проследить, куда направился таинственный путник. Благо, торопиться некуда, до вечера еще далеко.

Он долго шел по колее. Следы вели через чащобу саксаула в сторону оврага Жидели. Аул оставался позади. Бекбаул внимательно приглядывался. Путник, очевидно, ехал не на рыдване, запряженном волами. Колеса тележки глубоко врезались в снег. И конь подкован. Только у двоих в ауле есть такие тележки: у хромого Карла, который часто ездит в город по своим торговым делишкам, и у Таутана, главного бухгалтера колхоза. Но первого ни одна душа не осмелится обвинить в нечестных проделках, а второй, так сказать, руководящее лицо и его, Бекбаула, шурин, точнее, бывший шурин.

В овраге Жидели находилось старое зимовье бывшего волостного управителя Сартая. Еще в двадцать восьмом году волостного выслали, и с тех пор зимовье пустует. Люди избегали зимовья, обходили его, опасаясь разных джинов и шайтанов, которые, как известно, охотно поселяются в заброшенном жилище. Но именно сюда привели Бекбаула следы на снегу.

Шурина он увидел издали. Таутан, суетясь, перекладывал навоз. Широкогрудый вороной был привязан к колесу тележки. Бекбаул, не здороваясь, подошел, при-



валился к телеге и заглянул в короб. На дне лежала охапка пшеничной соломы. Ему даже досадно стало. Все сомнения развеялись, и он, выходит, напрасно столько отшагал. Таутан швырнул лопату на навоз, вытер взмокший лоб и, отплевываясь, подошел к зятю.

— А, это ты?— сказал он безразличным голосом.— Насыбая у тебя, случаем, нет?.. Вчера кончился табак, и теперь прямо с ума схожу.

Бекбаул подозрительно покосился на шурина.

— Будто не знаешь, что я насыбай не жую.— Он повел вокруг взглядом, сощурился.— А чего ты здесь околачиваешься, а?

На Таутане добротная овчинная шуба, выкрашенная охрой и отороченная понизу синим бархатом. На голове — пушистый лисий треух. Смешно: вырядился человек как на пир, а копается в навозе. Вспотел, бедняга, запыхался. Таутан снял треух, начал обмахиваться. Это был узкогрудый, среднего роста человек, чуть постарше зятя. К узкому, сдавленному с висков лбу прилипли редкие с рыжеватым отливом волосы. Под мохнатыми бровями недружелюбно и хитровато поблескивают большие черные глаза. Короткий нос чуть скошен на правую сторону. Скуластое, мясистое лицо обметано щетиной. Длинные, неухоженные усы прикрывают рот. По привычке он их время от времени поглаживает указательным пальцем.

— Итак, зятек дорогой, нету у тебя насыбая,— заговорил Таутан с усмешкой в голосе. А может, Бекбаулу это только показалось?..— Прямо скажем, зятек, скверно... И еще ты спрашиваешь, почему я здесь околачиваюсь, а?! У казахов принято почитать шурина. Не так ли? А ты как выражаешься?

— Ничего, брюхо от этого не лопнет. Просто жалко мне тебя. Такой почтенный человек, начальник... под боком саксаул растет, а он в дерьме копается, как ворона.

Таутан снова нахлобучил треух, подошел к вороному, почесал его за ухом. Конь повернулся к хозяину, блаженно прикрыв глаза.

— Старый, слежавшийся навоз горит жарче саксаула. Имей в виду, дорогой,— заметил Таутан, склонившись к уху коня. Казалось, он говорил это вороному.

С детства они росли и играли вместе. Когда-то в начальной школе в Шаулиме за одной партой сидели. Раз-

говаривать между собой грубовато, развязно стало у них привычкой. Бекбаул, однако, сейчас чуть смутился.

В самом деле, с какой стати подозревает он шурина? Что тут зазорного, если он навоз перекладывает? Начальнику небось тоже топка нужна. Правда, он мог бы других попросить, даже приказать. И ему привезли бы домой хоть кизяк, хоть саксаул. Но, может, ему неловко?.. И все же, все же...

— Не злись, каин-ага,— виновато улыбнулся Бекбаул.— Увидел пшеницу на снегу, ну и пошел по следу. А вдруг, подумал, ты какой-нибудь клад нашел... Если так, не таись, поделись...

Таутан нахмурился. Схватив с телеги хомут, с силой швырнул его к ногам вороного. Конь испуганно шархнулся назад. Хозяин размахнулся уздой, чтобы ударить его по морде.

— Эй! Ты что?! Скотина-то при чем?

Бекбаул подскочил к нему и вырвал из рук узду.

У Таутана скривился рот, выкатились глаза. Он бросился к коню, норовя ударить теперь его кулаком.

— У, сволота!.. Чтоб ты подох!..

— Ойбай, да ладно уж, успокойся, шучу...— начал уговаривать его Бекбаул.— Ты глянь-ка, какой нервный, а?! Думаешь, не понимаю, что пшеничка по дороге из старой соломы вышелушилась и высыпалась? Чудак! Шел с работы, увидел тебя издалека, ну и припелся сюда, чтоб языком почесать. Понял?

Таутан на этот раз промолчал. «Ну вот, теперь обиделся,— с досадой подумал Бекбаул.— Нехорошо получилось. Шурин ведь, единственный брат Зубайры. И с чего я сегодня такой бдительный стал? Дурак! Разве можно подозревать уважаемого человека? Тьфу, бить меня некому!»

Бухгалтер так ничего и не сказал. Сконфуженный Бекбаул пошел по своему следу обратно.

Едва Бекбаул скрылся за холмом, как главбух успокоился, воровато оглянулся, прислушался. Потом взял лопату и направился к покосившейся саманной избушке — зимовью бывшего волостного. Подошел к двери, зиявшей, как могила, еще раз оглянулся. Вечерело. Потускнела степь в ранних сумерках. И снег посерел, погасли в нем веселые искорки. Над головой слышался

шелест крыльев, и следом же испуганно вскрикнула какая-то птица. Опять наступила тишина.

— Принесли его черти! — проворчал Таутан. — Нюх как у собаки. И что он там мямлил про пшеницу?..

Таутан с лопатой в руке юркнул в дверь старого зимовья.

\* \* \*

— Папа! Папа, па-па-а!..

Сынишка радостно выбежал ему навстречу. Каждый день поджидал он отца на пороге. И сейчас бросился на шею, прижался. У Бекбаула защемило сердце.

...Они тогда перекочевывали на джайляу в Сарысу. Кони шли рядом, бок о бок, и вдруг Зубайра вскрикнула, побледнела, брови ее судорожно сошлись на переносице... Так и не доехали в тот раз до джайляу. В пути родился их первенец. На радостях старик-отец послал во все стороны гонцов, позвал гостей, у склона холма провел небольшой той, сам произнес молитву, поблагодарил аллаха за внука и назвал его Жолдыбаем, что означает «родившийся в пути». Сейчас Жолдыбаю уже пять лет. Весь в дедушку пошел: такой же лопоухий, толстогубый, узкоглазый. Вначале мальчик чурался родного отца. Так воспитывали внука старики. По обычаю казахов первый внук принадлежит дедушке и бабушке. Теперь смысленный малыш больше к отцу тянется, и после смерти матери старики этому не воспрепятствуют...

Маленькая комнатуха была жарко натоплена. Едва переступив порог, Бекбаул ощутил горячую волну воздуха. Десятилинейная лампа на пузатом кебеже-ларе чуть не потухла. Бледный язычок пламени, колеблясь, вытянулся вверх, потом накренился набок. Все немудреное убранство, весь нехитрый скarb при свете лампы виднелись как на ладони. На деревянной подставке, украшенной старинной резьбой, стоит маленький инкрустированный сундучок. Лет сорок тому назад его привезла вместе со своим приданым мать. Старые родители свято берегут сундучок, словно какую-нибудь драгоценность. В глубине комнаты расстелена большая белая кошма с узорами — материнское изделие. У двери лежит неопределенного цвета домотканый палас. На сундуке аккуратно сложены пять-шесть стеганых пестрых одеялец.

Таково самое обычное убранство простого казахского жилья.

Отец, большой любитель чая, сидел за самоваром. Мать что-то строчила на швейной машинке. Матери уже за шестьдесят, но она не расстается до сих пор с иголкой и ниткой. Вечно колдует над тряпками.

Бекбаул прошел на кошму-текемет, стянул изношенные пыльные сапоги, швырнул их к печке. Просторную стеганку, сшитую к зиме матерью, повесил на огромный деревянный кол, вбитый в стенку. Заскорузлый треух еще при входе нахлобучил себе на голову Жолдыбай.

Бекбаул опустил лицо возле печки на колени, ополоснул лицо и шею, сам себе сливая на руку теплую водичку из чугунного кумгана, а затем с наслаждением растянулся рядом с отцом.

— Коке, плесните и мне.

Он и не подумал о том, что неприлично заставлять старого отца потчевать его чаем. Да и что поделаешь, если старик заваривает чай совсем по-особому. Густой, настоенный чай со сливками ублажает душу, веселит сердце. Уже после двух-трех глотков на лбу Бекбаула выступил обильный пот.

— Коке, ваш чай лучше всякого меда!

Старик был польщен похвалой сына. Он раза два довольно кашлянул, погладив бороду. Бекбаул уже приготовился было выслушать длинную лекцию о том, какое это сложное искусство — по-настоящему заваривать чай, однако старик заговорил совсем о другом.

— Сейтназар приходил. Тебя спрашивал. Утром в контору, говорит, пусть зайдет... Дело какое-то, что ли...

В голосе отца послышалась гордость. Как же! Его сын вдруг понадобился самому баскарме. К нему за советом домой приходят. Значит, сын старого Альмухана не последний человек в этом ауле. От этих мыслей приятно стало старику. И он с наслаждением тянул горячий коричневый чай, пока не опорожнил весь самовар.

## II

Правление колхоза занимало часть клуба, построенного только в прошлом году. Еще издали Бекбаул увидел толпившихся у входа аулчан. Собрались мужчины при-

мерно его возраста. Должно быть, не его одного вызвал председатель. Снег поскрипывал под ногами, изо рта валил густой пар.

Солнце, по-зимнему тусклое, бессильное, нехотя поднималось из-за горизонта. На небе ни облачка. Снег играл в утренних лучах, поблескивал кончиками игл, слепил глаза.

В аулах обычно встают рано. Такова стародавняя привычка потомственных скотоводов. Хлопот всегда хватает. Вот и сейчас кто-то выгоняет скот на выпас, кто-то с утра пораньше чистит хлев, кто-то набирает воду в деревянную колоду. Выстроились в ряд саманные домики, невзрачные, приземистые, точно спичечные коробки. Из труб валит разноцветный дым, и тут нет ничего необычного: ведь одни топят углем, другие хворостом, третьи — джингилом, саксаулом, кизяком.

Колхоз имени Байсуна образовался в тридцатых годах, одним из первых в районе Шаулимше. С первого дня председателем был избран Сейтназар. С тех пор прошло почти десять лет, но успех неизменно сопутствовал ему. И не кто иной, как Сейтназар, настоял на том, чтобы колхозу присвоили имя Байсуна. По словам все на свете знающих стариков, Байсун был сыном бедного казахского шаруа — скотовода, который спас жизнь русскому офицеру, попавшему в плен к кокандцам во время покорения Ак-Мечети генералом Перовским. Благодарный офицер взял сына шаруа — нищего байского подпaska — с собой в большой город, где дал ему воспитание и образование. Позже этот Байсун совершил много полезных для народа дел: построил зимовье возле станции Чили; собрав деhкан, прорыл большой арык — нынче там течет полноводная река; приучил бедный люд к оседлой жизни; ратовал за земледелие; призывал учиться ремеслу у русских и узбеков... Ныне колхоз имени Байсуна является передовым хозяйством и занимает в районе одно из первых мест.

Мужчины, с утра собравшиеся возле клуба, то и дело поглядывают в сторону председательского дома. Однако задержка начальства никого не возмущает. Зимой в колхозе ни суматохи, ни суеты, спешить некуда, и все рады представившейся возможности потолкаться, посмеяться, поболтать о том, о сем.

Наконец появился Сейтназар в сопровождении пред-

седателя аулсовета и главбуха, и джигиты дружно расступились, учтиво протянули аульному начальству руки.

— Ассалаумагалейкум!

— Уагалейкум салам.

— Как дела, джигит?

— Слава богу, помаленьку.

Бекбаул последним подошел к председателю. Тот сощурил глаза, хитровато усмехнулся.

— Ну как, братец, отремонтировали зимовье?

Бекбаул уставился на кончик сапога, дернул плечом.

— Нет. Дел еще по горло...

— Ойбай-ау, да вас же там десять мужиков, здоровых, как бугай! Не понимаю, чего возитесь...

Баскарма с восхищением оглядел с ног до головы Бекбаула. Подумал: «Грудь — что ворота, шея как у быка, руки — кувалды... Таким, как он, гору своротить ничего не стоит. А мы все не можем использовать их природную силу».

В это время вперед вышел Таутан.

— Оу, товарищи, чего стоим? Пошли в контору. Поговорить надо...

И сам первым направился к двери. Главбух допустил явную неучтивость. И все это сразу заметили. Разве можно в таких случаях опережать председателя? Кое-кто косо посмотрел вслед...

Сейтназар сел на свое место, достал из кармана кисет с махоркой, оторвал клочок газеты, свернул «козью ножку». Люди раздвигали стулья, рассаживались. И опять баскарма пристально посмотрел на Бекбаула, прислонившегося к стене. Среди собравшихся он был самым рослым и здоровым. И внешность вполне соответствовала могучему телу. Черные брови срослись на переносице, между ними легла глубокая прямая складка, отчего лицо приобретало мужественное, суровое выражение. Большие, чуть сероватые глаза, крупный нос с широкими ноздрями, маленький, плотно сжатый рот очень шли к его ладной, крепкой фигуре. Однако джигит был хмур, подавлен. Небрит. Видно, потерял желание за собой следить. Очень не повезло ему. Прошлым летом неожиданно умерла совсем еще молодая жена. Зря говорят казахи: «Баба умерла — все равно что рукоять камчи сломалась». Просто так, для утешения, для красного словца сказано. На самом же деле жалко смотреть на парня. Сы-

на старика Альмухана баскарма, считай, каждый божий день видит. Таким подавленным, грустным он никогда не был. Конечно, здоровому джигиту без горячей женской ласки никак нельзя. Нужно иметь в виду, пожалуй...

Так думал Сейтназар. А он в душе считал себя знатком людей. Кроме того, был добр по натуре и искренне сочувствовал горю джигита.

Но сегодня Бекбаул интересовал его и по другой причине.

Попыхивая самокруткой, невольно подражая какому-то высокому начальству, баскарма походил взад-вперед вокруг стола. Потом бросил окурочек к ногам, придавил каблуком.

— Ну, товарищи, дела вот какие...— Он устремил взгляд куда-то вдаль, подождал, чтобы все успокоилось. И опять всем стало ясно: явно подражает кому-то председатель. — Нынешней весной, согласно постановлению партии и правительства, начинается строительство канала от Тюмен-арыка. Это будет грандиозное дело, невиданное и неслыханное в этом краю. Вода Сырдарьи придет к нам в степь и превратит пустыню в цветущий гулистан. Вот так-то, товарищи! Сами знаете, с водой у нас беда. Будет вода — будет все. Правда, наш колхоз рис не сеет. У нас плодово-ягодное хозяйство. Овощи и фрукты, выращенные дехканами аула Байсун, славятся... ну, о Москве не будем говорить... даже на базарах далекой Алма-Аты. Верно говорю? А дыням, арбузам, яблонам, урюку вода нужна? Нужна, спору нет. Следовательно, по решению районного комитета партии мы должны выделить на строительство канала сто человек...

Все разом загудели, заерзали. Значит, канал строить будут?.. Ну, что ж... Дело нужное. Колхозники оживились. Дехкане испокон веков знают цену воде. Однако послышались и голоса сомнения.

— Что за канал? Разве сил хватит?

— Сто джигитов на канал отправим, а колхоз как?

— Когда начало строительства? Зимой какая стройка?

Сейтназар замахал обеими руками, призывая к тишине.

— Апырмай, ну чего расшумелись? Слова сказать не дадут, горлопаны! Никто сейчас вас не отправляет. Поняли? Придет весна, оттаяет земля, тогда и начнется строи-

тельство. К тому же мы силком никого не заставляем работать. Кто не желает, пусть остается возле своей бабы. Надеюсь, все ясно? На канал отправим только крепких да толковых джигитов. Болтунам там делать нечего...

— Тогда как? Записывать, что ли, будешь?

— Зачем записывать? Не в Сибирь же тебя отправляют.

— Тише, товарищи!.. Записывать, конечно, будем. Иначе как? Это нужно для учета, для порядка. Да и район список требует. А теперь скажу, зачем я вас собрал. Все вы — красные активисты. К тому же аллах вас силой не обидел. Таким только балки железные гнуть. Так вот! Вы обязаны показать пример остальным рядовым труженикам, быть едиными, монолитными. Демонстрировать настоящую большевистскую сплоченность! Ясно? Ну, коли ясно, то кто хочет выступить?

— А чего выступать? Надо — поедем.

— Увиливать от общего дела не будем.

— Раз так, то, товарищ Таутан, бери ручку и бумагу. Записывай! — В глазах председателя вспыхнул веселый огонек. — Первым запиши Бекбаула. Альмуханов Бекбаул... Есть? Дальше... подряд пиши: Рысдаulet, Ибрай, Сарсенбай, Ахатбек, Абдильда... На любого из них взвали верблюда — и не крикнет. Вот так.

Сейтназар, довольный, грузно опустился на стул, растегнул пуговицы темно-серого кителя, помахал широкой ладонью перед лицом. Большая печь у стены была жарко натоплена, но люди оставались в верхней одежде: вешалки в кабинете не было. Да и стульев было мало. Многие стояли.

— И еще одно дело. — Председатель, как бы спрашивая совета, повернулся к главному бухгалтеру и председателю аулсовета. — Надо выбрать мираба. Сто человек — один мираб. И он должен нести ответственность за работу этих ста. Такова установка.

— Ну, мираба выбрать мы и потом успеем, — начал было председатель аулсовета, но Таутан перебил его.

— Зачем же потом? Все члены правления в сборе. Давайте сегодня все и решим.

Председатель аулсовета недовольно поморщился.

— Нет парторга. Может, повременим?

— Человек уехал по сватовским делам в Туркестан,



а мы его будем ждать?! Ему там сватовские почести воздают, зачем ему здешние заботы?!.

— К чему такие речи, товарищ Мангазин?!— повысил голос председатель аулсовета.— Ты что, хочешь запретить обычаи предков? Отменить сватовство?! Тогда дочь твоя останется без мужа, а сын — без бабы!

Довод этот Таутана не убедил. Он ядовито усмехнулся.

— Я против всего старого, отжившего!— сказал, будто гвоздь вколотил.— Где сватовство, там купля-продажа. Где купля-продажа, там калым!

— Что-о?!— председатель аулсовета всем телом повернулся к главному бухгалтеру, даже плечом его задел.— По-твоему, выходит, мы горячие приверженцы калыма? Так, что ли?!

— Злись, не злись, дорогой, а в наше время, когда мы разбили, так сказать, классового врага и объявили бой феодальным пережиткам, товарищу парторгу не пристало сватовством заниматься. Это я вам прямо говорю! Мы живем не в мрачном девятнадцатом веке. Сейчас, слава богу, тысяча девятьсот сороковой год... И с политической точки зрения... это...— пустился было Таутан в длинные рассуждения, но вдруг взорвался Сейтназар.

— Эй! Что это вы, как бабы на базаре сцепились?! Тут о деле собрались говорить, а вы?! Когда только перестанете грязь под ногтем выискивать?!

О вспыльчивости баскармы все знали, потому оба решили промолчать.

— Ну, так кого же мирабом выберем?— спросил председатель, хмуро поглядывая по сторонам. От недавнего благодушия и следа не осталось.

Воцарилась тишина. Вроде бы неловко всем стало от словесной перепалки двух почтенных людей. Сейтназар с досадой подумал: «И чего им не хватает? По всякому поводу грызутся. Этот Таутан все время воду мутит. Толковый бухгалтер вроде, а сквалыга».

Таутан указательным пальцем погладил обвислые усы. Потом недовольно покосился на председателя аулсовета.

— Я как раз об этом и собирался говорить, да вот тут начали... Словом, предлагаю избрать мирабом Бекбаула. Не думайте, что я хочу своего зятя возвысить, куда-то протолкнуть. Такого намерения у меня нет, това-

рищи. Просто считаю, что он наиболее подходящий человек. Отец его, старый Альмухан,— на всю округу Шаулимше известный дехканин. Сын тоже кое-чему у него научился. Знает толк в земле. И к тому же по происхождению совершенно чист... из самого, что ни на есть, бедняцкого рода. В нынешних условиях это очень важно, товарищи.

Неужели начальство заранее договорилось? И Сейтназар, и председатель аулсовета согласно закивали. Бекбаул растерялся. Ему в жизни никто не подчинялся, а эти хотят, чтобы он сотней джигитов верховодил. Хотят его начальником сделать; а какой он, к черту, начальник? У него и образования-то настоящего нет. Таутан хоть семилетку кончил. А он что? Таутан рожден быть начальником. И стал бы им, кончи хоть полкласса. Он и в политике собаку съел, и на костяшках шелкает — только треск стоит. Самого председателя аулсовета одернуть не побоялся. Тот ведь тоже не робкого десятка, а перед бухгалтером и пикнуть не посмел... Э, нет, не просто это — народом руководить...

Согласия Бекбаула, однако, никто и не спрашивал. Видно, полагали, что с радостью согласится. Конечно, мираб — это звучит совсем неплохо. Почти как начальник. А если не справишься, опозоришься перед всем аулом? Тогда как? Что он скажет тогда? «Ойбай, извините, не знал, не думал?» Нет уж, лучше заранее отказаться. Покой дороже всего. А на канал, если надо, поедет. Как все, так и он. Кетмень держать, слава богу, умеет. С любым потягаться может. Сын шаруа пусть так и останется простым шаруа.

Пока он так думал, аулчане начали расхваливать его на все лады.

— Э, что ж... Пусть будет Бекбаул.

— Другого мираба нам и не надо.

— Чем окрики чужого слышать, лучше со своим делом иметь.

Сейтназар поднял руку.

— Нет другого предложения, товарищи?

Бекбаул, опустив голову, вышел вперед.

— Мне сказать можно?

— Говори!

— Выберите мирабом кого-нибудь другого...

— Э, это еще зачем?! — у Таутана округлились глаза.

за.— Оу, ты что, от своего счастья отказываешься? Что за глупость?!

Бекбаул не понял. Озадаченно посмотрел на шурина.

— Какое... счастье?

— Вот недотепа, а! Неуч!— Главбух презрительно усмехнулся.— Да какого еще счастья тебе надо? Весной начинается грандиозное строительство, так сказать, все-народное дело. И тебе, дурья голова, поручается один из его участков. Тебе люди доверие оказывают! И ты еще спрашиваешь, какое счастье?!

Бекбаул смущенно поскреб щеку. Со всех сторон слышались одобрительные возгласы.

— Выше голову, Беке!

— Не робей! Справишься.

— Ну, а когда канал построим, меня что, снимут?— неуверенно спросил наконец Бекбаул.

— Конечно! Кому ты такой, растяпа, нужен?!— скринулся Таутан.— Или ты думаешь, что незаменим? Или в колхозе, кроме тебя, человека нет? Просто тут решили, что, мол, сын дехканина, опытный кетменщик... Вот и доверили тебе такую честь. А он, понимаешь, еще выкобенивается!

— Ладно, нечего тут тары-бары разводить,— подвел итоги председатель.— Итак, Бекбаул выбирается мирабом. Приступай, Беке, к работе. Подбирай себе людей. Через три дня придешь ко мне и доложишь все, что сделал. Понял? А ты, Таутан, чем языком чесать, лучше подсчитай, сколько нужно средств на сто человек. Председателю аулсовета следует раздобыть десять юрт для строителей канала. Таковы указания районного комитета партии. Имейте в виду. Чтобы потом, когда потеплеет, не возились. На этом, товарищи, заседание колхозного правления объявляю закрытым.

### III

Безлунная ночь. Дует легкий ветерок. Песок шуршит под ногами. Между кустами, напрямик, пробирается человек. Раза два он зацепился штаниной за колючки, укололся о чингил. Шел, вобрав голову в плечи, воровато озираясь. Ух, наконец-то, добрался. Он перевел дыхание, прислушался. Аул спал. Даже чуткие собаки-пустобрехи, и те умолкли. Человек, почти сливаясь с мраком,

остановился у председательского дома, надавил слегка коленом на большие крашенные ворота. Они, чуть скрипнув, отворились. Он облегченно улыбнулся: все предусмотрено. Огромный кобель на цепи приветливо помахал хвостом, принялся. Ночной гость погладил, почесал за ухом пса, посмотрел на окошко, тускло освещенное лампой. Да, его ждали.

Сегодня Нурия подстерегла Бекбаула и шепнула ему, что муж уехал в Слутюбе за семенами, она остается одна. Отказаться Бекбаул не посмел.

Нурия лет на пять старше его. Крупная, туготелая женщина с густыми, сросшимися бровями, чуть вздернутым носиком, черными, блестящими глазами. Ходит она обычно горделиво, покачивая бедрами. Пышные волосы ниспадают на плечи. Тяжелые груди выпирают под кофтой. Единственный ее ребенок много лет назад умер от кори. И с тех пор не давал ей аллах детей. Тосковала Нурия, тосковала сердцем и телом, пока не приглянулся ей рослый, крепкий джигит, изредка привозивший в дом председателя дрова, сено. Она не давала прохода джигиту, подстерегала в самых неожиданных местах, откровенно жадными глазами смотрела на него... Однако на людях держалась по-прежнему с достоинством, даже высокомерно. Казалось, не Сейтназар — председатель колхоза, а она, его гордая жена Нурия. Мужа она называла не иначе, как «мой миленок», «мой робкий ягненок». Была к нему неизменно внимательна и учтива. Но стоило «робкому ягненку» куда-нибудь удалиться, как верная супруга начинала по всему аулу разыскивать Бекбаула...

Он подошел к двери и тут же услышал знакомые тяжелые шаги. Дверь распахнулась. Нурия в длинной, до пят, белой рубаше, отчего она казалась еще крупней, с распущенными волосами, кинулась к нему, обдав хмельным запахом здорового женского тела. Не давая опомниться, она обвила его шею полными, белыми руками, прижалась горячим телом и, увлекая за собой, захлопнула дверь.

...За окном петух прокричал полночь. Бекбаул вздрогнул, оглянулся. На круглом столе, покрытом красной бархатной скатертью, со слабым потрескиванием горела десятилинейная лампа. Он сел, свесив с кровати ноги, тыльной стороной руки смахнул со лба пот. На душе было гадко. Проклятая баба! Супружеское ложе из-за нее

опоганил. До сих пор встречались тайком, в безлюдной степи, в укромных закоулках, так мало ей этого...

А живут — дай бог каждому. Сразу видно — дом председателя. Что в других комнатах — неведомо. А здесь, в спальне, на двух стенах, играя узорами, красуются два огромных ворсистых ковра. Кровать роскошная, никелированная. Постель вся из разноцветного шелка и атласа. В глазах рябит. На окнах, двери висят шторы. Тяжелые, бархатные, с кистями. Как тут при таком достатке не беситься бездетной, здоровой бабей!

Он покосился на отражение ее лица в большом круглом зеркале. Нурия, томно улыбаясь, расчесывала редким черепаховым гребнем разлохматившиеся волосы. Он обхватил ее сзади и, повернув лицом к себе, спросил:

— Скажи: ты и в самом деле в меня... влюблена?

Нурия жеманно вскинула брови.

— А зачем тебе это понадобилось знать?

— Да так просто.

— Э, нет, ты ответь... Или сомневаешься, а?

Таковы женщины. Им лучше ничего не говорить. Начнут докапываться — не отвяжешься. Бекбаул досадливо разжал руки. И только теперь заметил вокруг глаз и на лбу Нурии мелкие сетки морщин — словно трещинки на солончаковом такыре. Что ж... тридцать пять для женщины — срок немалый. С трудом подавляя вспыхнувшую вдруг в нем неприязнь, он грубо сказал:

— А потому спрашиваю, что жениться надумал. Пойдешь за меня?

Нурия почувствовала насмешку, но виду не подала. Плутовски повела глазами, рассмеялась.

— Очень нужно! За тебя пойду — с голоду подохну. Сам посуди: чем плоха моя жизнь?

Бекбаул круто повернулся.

— Как?! С-серьезно... не пошла бы?

— Что ты, ойбай! Дура я, что ли, чтобы выходить за босяка-кетменщика?!

— Так какого черта тогда со мной путаешься?!

Бекбаул насупил брови. Она встревожилась, начала ластиться к джигиту.

— Ну, ладно, милый. Шучу ведь. Сам знаешь: только один ты мне нужен...

— А Сейтназар?

— Господи, нашел, о ком говорить! Да у него одна

работа на уме. А домой придет — завалится спать и дрыхнет, хоть ты...

— Молчи! Терпеть не могу баб, которые мужей своих охаивают!

— Да я разве охаиваю? Всю жизнь только о нем и пекусь. От всех скрываю, что он... Понятно?

Ничего Бекбаулу не понятно. Ну, чего он с Нурией связался? Каждый раз говорит себе: все, надо кончать. Но проходит три-четыре дня, и все повторяется снова. Увидит полнеющее, но еще тугое, сильное тело Нурии, и шумит в голове, и в глазах туман, будто анаши накурился...

— Ну, я пошел,— буркнул джигит мрачно.

— Как это «пошел»? Заночевал бы.

— Не-е... Попадусь кому-нибудь на глаза и подорву авторитет твоему «кроткому ягненку»...

— Как знаешь... Когда теперь встретимся?

— Не знаю. В понедельник отправляюсь на канал. А там и повернуться некогда будет.

— Как это понять? Удираешь?

Бекбаул не ответил. Кряхтя, натянул сапоги, валявшиеся возле кровати, неслышно вышел.

Ветер усилился. Обычная игра капризной весенней погоды в этом краю. Резкий, пронизывающий ветер швырял песок в глаза, лез за ворот, и Бекбаул, зябко поеживаясь, думал о том, что если не потеплеет в ближайшие дни, земля не успеет оттаять, и тогда придется поневоле отложить начало строительства канала на апрель.

\* \* \*

На другой день, еще до полудня, его вызвали к председателю. Он шел ленивой, развалистой походкой в контору, а в голове роились беспокойные мысли. Интересно, когда Сейтназар успел вернуться из Слу-тюбе? Еще ночью? Или только сейчас? Видно, сам аллах его надумил вовремя расстаться с Нурией. Впору испечь жертвенные лепешки в честь благосклонного всевышнего.

Чувство неловкости и тревоги не покидало его и тогда, когда он робко переступил порог конторы.

Сейтназар был не один. У стола сидел незнакомый рябой мужчина в высокой зеленой шляпе.

— Этот товарищ — корреспондент областной газе-

ты.— Представил его председатель.— Специально приехал, чтобы с тобой поговорить.

Корреспондент кивнул головой и поздоровался.

— Товарищ Альмуханов... Я приехал, чтобы поближе познакомиться с вами и собрать материалы о вашей супруге... трагически погибшей прошлым летом. Я очень прошу вас подробно рассказать мне о жизни и... смерти Зубайры.

Бекбаул нахмурился, потемнел лицом. Растревожил душу этот рябой.

— А зачем вам... это?— спросил глухо.

Корреспондент сочувствующе посмотрел на него.

— Мы хотели напечатать в газете очерк о вашей жене. Это очень нужно...

Пожалуй, не отвертись. Но с чего начать? Бекбаул поерзал, озабоченно поскреб щеку.

— О чем же говорить?

— Обо всем... что в памяти осталось.

Бекбаул откашлялся, пожевал губами. Поневоле начнешь мямлить, когда кто-то каждое твое слово на бумагу записывает.

— Зубайра Альмуханова... как вышла замуж, так, понятно, на мою фамилию перешла... родилась в тысяча девятьсот пятнадцатом году в местности «Кырк-кепе», неподалеку отсюда, в семье бедного скотовода. В тридцать седьмом окончила медицинское училище в Кызыл-Орде и стала работать в ауле фельдшером. В том же году мы, как говорится, поженились. Потом родился у нас ребенок... А в прошлом году в Кызылкумах вспыхнула эта... ну, холера, и в самый зной отправили туда самолетом и Зубайру. И больше мы ее не видели.

Рябой почтительно помолчал, лишь раза два негромко кашлянул:

— И это.. все?

Видно, бессвязный лепет Бекбаула не удовлетворил корреспондента.

— Других подробностей не знаю. От райздравики пришло извещение. Дескать, Зубайра погибла при исполнении служебных обязанностей.

— Ну, что ж... ладно,— сказал рябой, убирая блокнот и ручку.— Я еще поговорю с людьми. А вам и на этом спасибо. Простите, что побеспокоил.

Корреспондент вышел, и только тогда Сейтназар откинулся на спинку стула, облегченно вздохнул:

— Уф-ф! Боюсь этих газетчиков. Особенно вот этого рябого. Я уж подумал было, что по мою душу приехал. Помнишь, в прошлом году фельетон в газете был. «Волчье логово» назывался. Так там от председателя нашего райпотребсоюза только клочья летели. Кончилось тем, что Каскырбаеву дали по шее. А однажды...

В ауле поговаривали, что отец Сейтназара был ученым человеком — дамуллой. Отправился он как-то в далекую Мекку, чтобы поклониться священной обители пророка, да так и не вернулся. Остался малолетний Сейтназар сиротой. Рос у родственников. В грамоте баскарма был не силен. Дальше начальной школы не пошел. Потому с подозрением относился к ученому люду. Вот и на рябого корреспондента обрушился почем зря.

Бекбаул кивал головой, однако, плохо понимал, о чем рассказывал председатель. Что? Каскырбаева пропесочил? Правильно сделал! Пройдохам и ловкачам так и надо! Впрочем, Бекбаулу все равно. Теперь хотят про Зубайру написать? Пусть пишут. Пусть помянут добрым словом. Зубайра... единственная, желанная... Рано ты угасла. Двадцать четыре года всего лишь ступала по этой земле. Спасала людей от черной беды — холеры, а сама не убереглась... Когда узнал о ее смерти, ушел он в степь, подальше от людей, упал на горькую полынь и дал волю слезам. Они лились из его глаз, словно вода, прорвавшая запруды. Никогда не думал он, что у человека может быть столько слез...

Бекбаул хмуро покосился на председателя. А ведь и в самом деле нет, пожалуй, ничего привлекательного в нем для Нурии. Смотреть не на что! Волосы поредели, на темени — плешь. Нос — что птичий клюв, виски впалые, на щеках ни кровинки. Ему едва перевалило за сорок, а он уже грузный и рыхлый.

Что там говорить, не нравится председатель женщинам. Не раз Бекбаул слышал, как разбитные молодухи называли его за глаза «плешивым». Судя по этому, бабы вообще склонны судить о достоинствах мужчины по его внешности. А раз так, то и игривая Нурия — очень может быть — польстилась лишь на широкую грудь, да на силу объятий молодого вдовца.

Председателя же в ауле уважают, говорят о нем, как



о человеке честном и справедливом. Так оно и есть. Пока что не приходилось слышать, чтобы Сейтназар кого-либо незаслуженно обидел. Правда, года три назад над ним сгустились было тучи, но все обошлось благополучно... Вообще удача сопутствует ему. Но характер скверный. Вспыльчивый, суетливый. На работе, бывает, скандалы закатывает, как баба. Правда, отходчив.

Председатель в это время начал рассказывать о том, как он съездил в Слу-тюбе за семенной пшеницей, как тамошнее начальство заупряилось, не желая отпускать семена, пока колхоз не перечислит деньги в банк, как ему, баскарме, поневоле пришлось позвонить секретарю обкома, чтобы наконец-то все уладить.

Бекбаулу стало неловко сидеть, будто набрав воды в рот, поэтому он сказал:

— А почему мы сами с осени не запасаемся семенами? Как весна — так попрошайничаем.

— Ты прав, — согласился баскарма. — О семенах нужно нам самим позаботиться. Сам знаешь: основное наше хозяйство — фрукты и овощи. Пшеницы сеем мало, и весь урожай раздаем на трудодни. Иначе не угодишь колхознику. Вот когда построим канал да проведем сюда воду, вот тогда и вспашем целину возле Ащы-кудука и засеем пшеницей. Эх, скорее бы...

— Когда же думают рыть канал? Земля-то еще мерзлая.

— Срок остается прежний. Начальником строительства назначен инженер Шушанян. Комиссаром — некий Ерназаров. Говорят, до первого мая проруют канал от Тюмен-арыка до Чили. Потом строителей распустят по аулам, а после уборки вновь примутся за работу. Одним словом, канал намереваются построить еще нынче.

— И докуда дойдет вода?

— До песков Байгекума и даже дальше.

— О! Работенка предстоит нешуточная.

— Не говори! Вот где испытаем силу и упорство джигитов! А, Беке? — Председатель радостно потер ладони, повел плечами, даже губы облизнул. — На вас вся надежда. С завтрашнего дня можете отправляться. Юрты поставлены. Председатель аулсовета сегодня туда выехал. Вот так-то... Разыщи подводу, запасись харчами и тоже собирайся в путь.

— А где я ее возьму, Саке, подводу-то?

— А ты заранее не плачь, дорогой! Можешь мобилизовать любую подводу в колхозе. Если ничего не найдешь, то попроси хромого Карла. И вообще, сам выкручивайся. Под твоей властью сотня людей. Учись приказывать и требовать. Да, да!

Решив, что с делами покончено, Сейтназар пытливо оглядел Бекбаула с головы до ног.

— А потом, милоч, я думаю, хватит тебе во вдовцах ходить...— В голосе председателя появились заботливые нотки.— Конечно, Зубайра хорошая была женщина. Однако сам понимать должен: кто умер— тот умер, а живой обязан жить. Без женщины и дом— не дом, и джигит— не джигит. Стоит мне два дня не видеть своей женки, как я уже места себе не нахожу...— Сейтназар сощурил глаза и расплылся в улыбке.— Ты вообще как ... по женской части? Хоть иногда утеху себе находишь?

Бекбаул насупился. Станный разговор завел баскарма. Вроде бы нет оснований для таких бесед. Да и годами председатель старше. Может, на что-то намекает? Может, пронюхал что-то? Или считает, что с мирабом баскарма может говорить о чем угодно? Не приходилось Бекбаулу до сих пор иметь дело с начальством. И не знаешь, как вести себя. Он почему-то и не полагал, что начальство могут интересовать сугубо житейские дела. Думал, что и на тоях, и за чаем оно ведет лишь степенные разговоры о политике или о хозяйстве, на худой конец. А тут вдруг про любовные утехы спрашивает... Хм-м... Нет уж, лучше промолчать. Разве поймешь, что начальству на ум взбрело? Не мудрено и опростоволоситься...

— Ладно, ладно, не смущайся. Я к тому веду речь, что есть у меня одна молодка на примете,— уже деловым тоном заговорил Сейтназар.— И знаешь кто? Сестрица моей Нурии. Свояченица, стало быть. Недавно от мужа ушла. Пышная бабенка! В самом соку! Ты бы ее, так сказать...

Бекбаул неожиданно вскочил. Лицо его исказилось от гнева.

— Саке, извините! Прекратим этот р-разговор!!

И выскочил, хлопнув дверью.

Сейтназар опешил.

Уже половина марта была позади, а весна запаздывала. Настойчиво дул с севера пронизывающий ветер, пробирал до костей, леденил душу. Легче было переносить зимнюю стужу. Недаром старики твердят об опасности весенних холодов. Коварна ранняя весна. Всякие напасти подстерегают и людей, и скотину. Отощавший за зиму скот весной особенно нуждается в кормах и тепле. Иначе неминуем падеж. В колхозах начинается суматоха. Надо успеть до начала весеннего расплода отары овец перегнать на горные пастбища. И хорошо, если там вдоволь подножного корма. Ведь совсем непросто доставлять сено за сто километров от зимовий.

Нудный, пронизывающий ветер зло трепал прошлогоднюю траву, срывал пушистые камышовые метелки, голодно рыскал по оврагам. Черна, неприглядна еще степь. Кое-где виднеются солончаковые проплешины. Те же унылые, скудные краски, что и осенью. Однако опытному глазу заметно, что джида, джингил, колючий кустарник медленно наливаются соком, хотя и не распустили еще почки. Самая пора весенней распутицы. Если хлынет ливень, то не проедешь, не пройдешь. Все превратится в сплошное месиво.

Погрузив на телегу хромого Карла шесть мешков муки, три бараньи туши, Бекбаул спозаранку отправился в путь. Хваленый «казанской крови иноходец», как называет своего гладкошерстого мерина словоохотливый Карл Карлович, шел такой занудливой трусцой, что невольно навевал сон. Может, слишком тяжела поклажа... Возница, держа вожжи, удобно разлегся на мешках. Бекбаул уговаривал слезть, дать немного передышки «казанской крови иноходцу», но старик только отмахивался.

— Э, ты о моем иноходце не беспокойся. И не смейся. Чем плестись по обочине, лучше взбирайся на телегу.

Не спешит мерин. И хозяин камчой его не подстегивает.

— Оу, Карл-тамыр, если мы до обеда не доберемся до Тюмен-арыка, Сейтназар нас живьем съест.

— Не волнуйся. Кто не спешит, тот и на телеге зайца догонит.

Бекбаулу стоило немалых трудов уговорить Карла

Карловича возить аулчанам продукты. О трудоднях, обещанных баскармой, тот и слушать не захотел. «Зачем мне ваши трудодни, за которые еще неизвестно, что я получу осенью?! Я человек бедный. Простой извозчик. Мне тоже нужно семью кормить». Пришлось колхозу уступить: обещали платить деньгами. Колхоз не имел ни машин, ни тракторов. Телеги да сани, запряженные лошадьми и быками,— вот основной транспорт. Но и его вечно не хватает. Поневоле приходится упрашивать, умолять единоличников. А они, естественно, торгуются, цену себе набивают. Добрейший Карл Карлович тут не составил исключения.

Давно живет среди казахов неугомонный и неугомонный Карл Карлович. Говорили, что он родом с Волги. Видно, не сладко ему жилось в родной деревне. Испытал сполна и лишения, и нужду. Провоевал всю гражданскую, гонялся по степи за басмачами, да и осел потом в этих краях. Одно время работал на железнодорожной станции, простудился, стали донимать старые раны и пришлось расстаться с одной ногой. После этого с оравой детей переехал в колхоз Байсун. Старшие сыновья теперь работают в колхозной кузнице. Казахским языком в совершенстве владеет вся семья. Незнакомым людям Карл Карлович и его дети в шутку говорят, что они сунаки. Есть у южных казахов такой род — сунаки. Среди сунаков часто встречаются длинноносые, узколицы, рыжеватые, сероглазые. Так что Карл Карлович вполне сойдет за сунака. Сейчас ему под семьдесят. Получает пенсию. Ни усов, ни бороды не носит. Обыкновенный, среднего роста худощавый немец. Одет в казахский чапан, перевязанный в поясе конопляной бечевкой. На голове носит круглую татарскую шапчонку, отороченную мерлушкой. На ногах — старые сапоги с загнутыми вверх носками. По одежде его от местных жителей не отличишь. И потому многие принимают Карла Карловича за старика-казаха.

Самое любопытное: он знает казахские обычаи, обряды, традиции лучше иных казахов. Говорят, что при случае он и длинные суры из корана наизусть читает. Часто Карл Карлович бывает на железнодорожной станции и потому всегда в курсе внутренней и внешней политики. Вот и сейчас всю дорогу долдонит об отношениях между СССР и Германией. Бекбаулу не терпится скорее

доехать до Тюмен-арыка, а старик все про Германию распинается.

— Ойбай-ау, ты понимаешь,— говорит он, вытягивая тощую шею,— это же совсем не просто! Сволочи-фашисты почти всю Европу захватили. У самой нашей границы стоят.

Бекбаула это мало тревожит:

— Эй, старик, оставь-ка лучше Европу в покое и подхлестни своего скакуна. А то не доберемся сегодня до канала.

— Чтобы канал рыть, международное положение тоже знать надо, товарищ мираб.

— Да провались они, эти фашисты!.. Мне нужно жратву скорее доставить, понял?

Старик цокает языком, качает головой.

— Кто такого невежду на канал посылает, хотел бы я знать?! Там нужны передовые, идейно под...

Бекбаул не дает ему кончить и начинает злить старика.

— Ты что мне Германией голову морочишь?! Ты ведь немец, небось сочувствуешь ей, а?!

— Тьфу, обалдуй!..

Карл Карлович смеряет его гневным взглядом и отворачивается...

Говорят, во время гражданской войны он сражался в отряде красных партизан. За храбрость, проявленную в бою возле станции Саксаульская, недалеко от Аральского моря, командование наградило его саблей с серебряным эфесом. Правда, сам Бекбаул эту саблю не видел, но хорошо помнит, как о том рассказывал однажды на собрании колхозный парторг...

Солнце поднялось на высоту копыя, а они даже не проехали мимо Сунак-ата. По правую руку тянется железная дорога, по обе стороны которой монотонно гудят телеграфные столбы. Безуданно подвывает на разные лады ветер. Вокруг, сколько ни гляди, ни одной живой души. Разве что невзначай пролетит заблудившаяся ворона...

Должно быть, надоело старику рассказывать. Или собеседник наскучил? Молчит, покачивается на телеге. Больше всего досаждают ветер. Бекбаул отворачивался, прятал лицо, но напрасно. Стеганка грела неплохо, но одежда без воротника — плохая защита от настойчивого

весеннего ветра, который облизывает своим шершавым, ледяным языком голую шею, лицо, не дает открыть глаза. И шапка старая, облезлая. Давно выбросить пора. Сколько Бекбаул себя помнит, хорошей одежды у них в семье не бывало. Заработок рядового колхозника уходит на повседневное житье-бытье. Мечтали они с Зубайрой быт свой наладить, приодеться, для дома кое-что прикупить. Вдвоем веселее бы пошла жизнь. Да не судьба была. Осталась навеки Зубайра в песках Кызылкума... А он привык к такой неприметной, непритязательной жизни. И никогда не мечтал о богатстве, о житейских благах. Даже плохо представлял себе, что это такое. Но сознавал: плохо, когда слишком отстаешь от своего кочевья. Стыдно ходить в длинном стариковском чапане. Пальто бы сносное купить или достать бы черную шинель с блестящими медными пуговицами, как у шурина. Такие шинели продают какие-то ловкачи на железнодорожной станции. А на что купишь?.. Нынче на трудодни надо приобрести какую-нибудь обновку. А то стыд и срам! Как-никак мираб ведь... Это, наверное, ничуть не меньше, чем бригадир... А он в лохмотьях.

Апырмай, какой назойливый ветер! Строительство, по словам начальника, начнется завтра. Не очень-то весело будет работать на таком ветру.

Ну и иноходец у Карла Карловича! Не конь — ишак заезженный. Еле ноги переставляет, чтоб ему сдохнуть!

Воет, свищет ветер. И, словно жалуясь на него, скрипят несмазанные колеса телеги.

\* \* \*

В конце марта тысяча девятьсот сорокового года на строительство Чиилийского канала, одного из крупнейших строек того времени в присырдарьинской низменности, со всех районов области собралось около шестнадцати тысяч человек. Возле Тюмен-арыка, вдоль реки, поставили от разных колхозов сотни юрт, и началось великое торжество. Резали скот, готовили плов. К началу строительства понаехало много почетных гостей из столицы республики и областей. Говорилось немало громких и красивых речей. Особенно многолюдно было возле красной юрты. Певцы и музыканты, разгоряченные и возбужденные горластой толпой, пели и играли, не жалея глоток и струн домбры.

Потом начальник строительства Шушанян собрал всех мирабов и обошел площадку, откуда должен был начаться канал. В казахскую степь товарищ Шушанян приехал впервые. Историю этого края знал плохо, и потому был особенно удивлен, когда узнал, что названия местностей Тюмен-арык, Бес-арык встречаются в книгах мусульманских ученых XV—XVI веков. Еще в глубокой древности в этих местах была достаточно высокая культура земледелия. Здесь цвели фруктовые сады. Дехкане занимались бахчеводством. Биологи тщательно изучили в низменностях нынешнего Жана-кургана, Шаулимше, Чиили почву и убедились в насыщенности ее азотными солями. Это позволило им сделать вывод, что лет семьсот-восемьсот тому назад здесь простирались громадные рисовые плантации. А теперь сколько земли пустует! Земля измучена жадой. Если ее напоить, все закрома можно было б набить зерном.

Среди мирабов, сопровождавших Шушаняна, находился и Бекбаул. Про себя он твердо решил не вмешиваться в разговор, а только слушать. Все мирабы, кроме него, были опытные, самоуверенные, пожилые мужчины. Они смело спорили с дипломированным инженером-мелиоратором товарищем Шушаняном. Более того, почти внимания не обращали на начальника строительства и так горячо настаивали на своем, что то и дело вступали в словесную перепалку.

— Эй, ты, Конрат, собирал бы овечий кизяк. Что ты понимаешь в этом деле?!

— А ты что понимаешь, пустобай Кипчак?! Сидел бы дома, коран свой читал да четки перебирал...

— Братцы, оставьте родовую тяжбу. Не время... Конрат, Кипчак — какая разница? — успокаивал третий распалившихся знатоков. — Подумаем лучше: поднимется сюда вода или нет? А может, повернем немного в сторону?..

Кипчак упорствовал.

— Нечего сворачивать! Правильно все размечено. Уровень воды в реке, самое меньшее, на два аршина выше.

Конрат не соглашался.

— Если сюда поднимется вода, я отрежу себе нос. Здесь уже пытались просо сеять, и ни черта не получилось. На корню все сгорело.

— Эх ты, растяпа-Конрат! В том году река обмелела.

— А ты, Кипчак, откуда знаешь, что она опять не обмелеет?! Взял бы лучше свои четки...

Кипчак бледнеет, когда ему о четках напоминают. Нет для дехканина большего унижения. В самом деле, какая может быть разница между дехканином из рода Кипчак и Конрат. И те и другие предприимчивы и трудолюбивы. И те и другие знают, что говорят и делают.

Нет, в такой компании лучше молчать. А то еще опозоришься. Шушанян заметил молчавшего Бекбаула, раз за два спросил:

— А вы что скажете, молодой человек?

— Аксакалам виднее,— отвечал каждый раз Бекбаул.

Почтительность младшего перед старшим испокон веков ценится казахами. Мирабы одобрительно поглядывали на Бекбаула. Вежливость и скромность сослужили ему потом добрую услугу. Бекбаул это после понял.

Руководители строительства накануне долго обсуждали вопрос о том, джигитам какого аула следует доверить начать устье канала, да так ни о чем и не договорились. Тогда постановили: пусть это решат сами мирабы. Шушанян и Ерназаров справедливо считали этот вопрос не простым. Шестнадцать тысяч человек, собравшиеся на строительство, были в основном из родов Конрат и Кипчак. Родовые пережитки все еще существовали, хотя об этом позорном явлении писали и местные газеты, и часто говорили лекторы. Разумеется, никаких стычек, неурядиц на этой почве не происходило. Новое время, новый быт уже достаточно изменили сознание людей. Однако любители подшутить, посмеяться, позубоскалить над «чужеродными» не перевелись. Скользкие шутки, не совсем безобидные намеки, задевающие родовую честь, нет-нет да срывались с насмешливых уст. Особенно заметно это становилось на больших сборищах. Тут каждый стремился верховодить, каждый особенно ревностно оберегал мнимую честь своего рода. Руководитель, крупный специалист, работающий среди казахов, должен был учитывать подобные обычаи и нравы — осколки недавнего прошлого. Старый большевик, познавший и ссылки, и тюрьмы русского царизма,— Шушанян это хорошо понимал.

Уточнив направление будущего канала, мирабы вер-



нулись в штаб. На открытие строительства съехались и председатели колхозов. Поближе к Шушаняну пристроился Сейтназар. Штаб расположился в просторной шестистворчатой юрте. Таких штабов на канале было пять. Главный находился в Чиили. Им руководил сам Шушанян.

Первым заговорил комиссар Ерназаров. Он сказал, что кто-то должен начать строительство, и поручить это можно любому джигиту из любого аула, ибо в конечном счете не так уж важно, кто первым ударит кетменем. Однако говорил он вяло, опустив голову. Видно, в душе сознавал, что слова его неубедительны и собравшимся здесь мирабам не понравятся.

Едва Ерназаров закончил речь, как с камчой в руке вскочил чернобородый из рода Конрат. Все насторожились, затаили дыхание. Однако чернобородый оказался умницей.

— Братья,— твердо сказал он,— всех нас привела сюда забота о благе. Речь идет не о каком-нибудь дележе между аулами или родами, а о деле всеобщем, можно сказать, всенародном. Поэтому почетное право начать строительство мы предоставляем джигитам из аула Байсун... Думаю, как верно тут сказал сын Ерназара, от этого никто не обеднеет. Не хана ведь выбираем...

Видно, чернобородый был в своем роду почтенным человеком: никто ему возражать не стал. Сейтназар от радости чуть приподнялся и гордо выпятил грудь. Крутой затылок налился краской. Начальство переглянулось: кто мог полагать, что все так просто решится? В юрте облегченно вздохнули, сразу поднялся одобрителный гул, некоторые потянулись к выходу. И тут опять поднялся чернобородый.

— Братья,— зычно начал чернобородый,— большое дело затеваем. Всенародное. Это верно. Но верно и то, что у каждого из нас есть малые дети. (Бекбаул вспомнил слова хромого Карла. Он сказал то же самое, когда у него просили повозку). И хотелось бы уяснить, что мы будем иметь за наш труд, за наш пот, за наши старания. А то разное говорят. Одни говорят, трудодни запишут, другие — будто товар дадут. Давайте с самого начала точно договоримся. Чтобы потом обид не было...

Чернобородому ответил Шушанян.

— Товарищи, в этом вопросе никаких тайн у нас нет. Председатели колхозов были информированы заранее. Средств, выделенных на строительство канала, не хватает, чтобы оплатить труд каждого. Оплату произведут колхозы по трудодням. Я думаю, обид тут не должно быть. Современное международное положение вам известно... На развитие индустрии, сами понимаете, требуются громадные средства. Вот так...

Заметив, что Шушанян как-то приуныл после этих слов и нахмурился, Бекбаул посмотрел на него с сочувствием и решил его каким-то образом поддержать, приободрить. Он робко кашлянул. В конце концов неудобно все время молчать. Он такой же мираб, как и все. А тут еще мысль мелькнула, что неплохо бы понравиться товарищу Шушаняну...

Сейтназар чувствовал себя сегодня на седьмом небе, весь сиял, а поняв, что его мираб намерен еще и выступить перед всем честным народом, радостно кивнул, дескать, давай валяй, не робей.

Бекбаул решительно вскинул голову, повернулся в сторону начальства:

— Шушке!

В юрте грохнули. Бекбаул ничего не понял, растерянно оглянулся. Что он такое сказал? Чего тут все со смеху помирают? Дернул его черт за язык! Сидел бы да помалкивал. Ишь, заржали. Даже рта раскрыть не успел. И Сейтназар смущенно пригнулся, плешивую голову почесал.

Недоуменно поглядывал на хохотавших и товарищ Шушанян. В казахском языке он был не силен и не понимал, что всех рассмешило неуклюжее словечко «Шушке» — производное от его фамилии, с которым обратился к нему молодой мираб. Начальник строительства вопросительно посмотрел на Ерназарова. Тот весь трясся от хохота и вытирал слезы.

— Ох... ох, ну и... ляпнул!..

— Кто?

— Да вон тот... Мираб колхоза Байсун... Хи-хи...

— Что же он сказал?

— Он назвал вас Шушке...

— Ну и что?

Только теперь Бекбаул догадался, что случилось. Он побледнел и сел. Ерназаров, успокоившись, начал объ-

яснять Шушаняну, каким образом он стал «Шушке». Шушанян, однако, не рассмеялся.

— Ничего смешного, по-моему, не произошло. Человек не знал моего имени-отчества и назвал меня Шушке. Что ж такого?! А зовут меня Ефим Аронович Шушанян.

Посмеялись в юрте от души. Начальник строительства повернулся к смущенному мирабу.

— Что вы хотели сказать, молодой человек?

У Бекбаула будто язык отнялся.

— Ну, ты что?!— подстегнул его Сейтназар.— Онемел, что ли?!

Бекбаул, не поднимая головы, невнятно пробубнил:

— Я... я... хотел сказать... можно ведь и без этой... ну, оплаты работать... Так сказать, для... народа.

— Что он говорит?— спросил Шушанян у Ерназара.

Комиссар строительства складно перевел на русский язык бессвязную речь Бекбаула. Шушанян выслушал серьезно, снял очки. Все заметили, что у него усталое, глубокими морщинами изрезанное лицо.

— Нет, дорогой, о бесплатной работе не может быть и речи. Однако и золотые горы не сулим. По возможности честный труд ваш будет оплачен. И оценен. Вот так-то, друзья...

Простодушие и наивность мираба из колхоза Байсун почему-то понравились товарищу Шушаняну.

## V

Вот так, неожиданно-негаданно, прилетела к Бекбаулу ослепительная птица счастья. Яркая жар-птица, воспеваемая в песнях и легендах. Незаметный, неприметный сын старого кетменщика Альмухана, чью молодость сгубили баи и манапы, вырос вдруг в глазах людей и стал мирабом целого колхоза. Не было в их роду человека, заслужившего такую честь. Во всяком случае, никто из самых древних стариков всей округи такого не припомнит. Весь род их был такой: робкие, скромные трудяги, надеявшиеся на силу своих рук. И только. К почтенному Алеке никто никогда не приходил за советом, и если его уважали, так за то, что он был славный дехканин, честно отработавший свой век. Жил он тихо, мирно. Мелкие

людские страсти его не касались. Сейчас он аксакал, однако, по-прежнему никому не досаждал старческими наставлениями. По складу характера Бекбаул весь пошел в отца. Просто жил, работал, послушно исполнял все, что ему приказывали. Так было до тридцати лет. А теперь... теперь он мираб, и в его подчинении сто человек. С ним теперь считается не только баскарма Сейтназар, но и начальник всех начальников (так думал Бекбаул), человек, познавший все науки, сам товарищ Шушанян.

Разве не счастье это?.. Некоторые его ровесники, дружки-приятели нынче обращаются к нему уважительно, как к старшему, называют Беке. Чем Бекбаул лучше их? Умнее, что ли? Образованнее? Ничуть. Сильнее — это да! Силой его бог не обидел, не обделил. В схватке любого на лопатки положит. С детства много боролся, все приемы, известные в аулах, на зубок знает. Ну и что из этого? Там, где нужна сила и выносливость, любой из аульных джигитов лицом в грязь не ударит. А вот получается, что среди них он, Бекбаул, все же выше. Он теперь мираб.

Разве не счастье это?.. Основу будущего канала заложили они, джигиты аула Байсун. А как работали?! Земля была мерзлая, свирепо дул ветер, а они упорно вгрызались кетменями в твердь. Хорошо еще, что мерзлый грунт был неглубок. Пол-аршина, и начиналась рыхлая супесь. Бесчисленные кетмени только мелькали в воздухе, сверкали на солнце. Кипела невиданная в этих краях работа. На стройку понаехало из разных колхозов немало девушек и молодых. Они отгребали и разравнивали вынутый грунт.

Где молодежь, там всегда шумно и весело. В перерывах холостые джигиты заигрывали с молодками, а те не особенно возражали против их ухаживаний. Игриво похохатывали, строили глазки, сами задевали красивых джигитов.

Техники, можно сказать, не было никакой. Лишь пять-шесть приземистых неуклюжих грейдеров кое-где разравнивали кочки, холмики, сгребли глину. Других машин и в помине не было.

Джигиты Бекбаула отличились с первого же дня. Выносливые, закаленные Рысдавлет, Ибрай, Сарсенбай, Ахатбек вынимали в день по двадцать пять — двадцать

восемь кубометров грунта, значительно перевыполняя намеченные нормы. Всех обогнал, однако, Рысдавлет. Вначале кое-кто пытался с ним потягаться, но когда Рысдавлет довел свой рекорд до сорока кубометров, соперники окончательно отстали. Лишь самолюбивые кетменщики из Казалинска и Кармакчи яростно старались его догнать, однако через пять дней и они сдались. Прославился колхоз Байсун. О его кетменщиках писали газеты. Их снимали в кино. В газетах, больших и малых, то и дело мелькал портрет мираба Бекбаула с кетменем в руке.

Мираб не бездельничал, хоть и ходил в начальниках. В свободное время сбрасывал рубаху и хватался за кетмень. Много хлопот было с джигитом по имени Байбол, по прозвищу Балабол. Низкорослый, тщедушный, он еле справлялся со своей работой. До поздней ночи зачастую один копошился на дне канала. Поневоле приходилось ему помогать, чтобы не попасть на язык насмешливых ровесников. Однажды Бекбаул сказал ему полушутя, полувсерьез: «И кто тебя только на канал пустил? Пас бы своих телят и не путался под ногами. Горе нам с тобой». Но Байбол был самолюбив, упрям и остер на язык. Бывало, жалил, как оса. Дерзкий, вздорный, он мог довести кого угодно до белого каления.

Через день наезжал Сейтназар. Каждый раз хлопал своего мираба по плечу, похваливал. Любил баскарма таким образом подбадривать своих подчиненных.

Однажды, чтобы помыться и переменить одежду, Бекбаул съездил в аул. Родители были на седьмом небе. Они ходили по аулу и хвастались сыном, на которого вдруг обрушилось такое счастье. Газеты с портретами сына мать приклеила тестом к стенке и любовалась ими десять раз на дню.

\* \* \*

В середине апреля Чиилийский канал протянулся до перевала Ак-тубе. Этот перевал был самым серьезным препятствием на пути будущего канала. Обойти его потребовало бы много труда и времени. Между тем, к маю надо было во что бы то ни стало дотянуть канал до Чиили. Начиналась весенняя полевая работа, и без шест-

надцати тысяч отборных джигитов колхозы, конечно, обойтись не могли. Единственный выход — форсировать строительство. По предложению Шушаняна, каждый колхоз выделил по десять передовых кетменщиков, которых обязали в кратчайший срок пробить перевал. Десятку из колхоза Байсун возглавлял Рысдавлет. Вот тут-то совершенно неожиданно взбунтовался Байбол. Во время ужина, когда джигиты принялись за перловую кашу, Байбол исподлобья обвел взглядом всех сидящих в юрте и сказал высоким срывающимся голосом:

— У, бугаи толстокожие! Обрадовались, что на перевал их посылают! А почему меня с собой не берете, а?! Что я вам — игрушка? Или виноват, что ростом не вышел?! Зато у меня голова! Понимаете вы, бестолочь! Кто вами, пустоголовыми, руководить будет, а?!

Бекбаул сидел рядом с Рысдавлетом и мешал большой деревянной ложкой густо дымившуюся жирную кашу. Должно быть, проголодался, нетерпеливо сглатывал слюнки. Над кашей роем кружилась мошкара.

Мираб только усмехнулся, не поднимая головы.

— Руководителей, я думаю, и без вас, Баете, достаточно. Нам бы работяг побольше, таких, кто вкалывать умеет.

Рысдавлет поддел самолюбивого Байбола.

— Ты что, считаешь нашего Байбола совсем уж никудышним, а?

Слова эти хлестко ударили разъяренного джигита.

— Эй, придурки! Оставьте свои насмешки при себе! Вы что, пуп земли? Смотрите, надорветесь!.. Хватит вам скалить зубы, товарищ Альмуханов! Включите и меня в список.

— А если не включим?

— Не имеете права! Я вам не какой-нибудь шалтай-болтай, а равноправный советский гражданин. Понятно?!

— И все же тебя не возьмем, дружок.

— По... почему?!

— Потому что кетмень держать не умеешь.

— Тогда, товарищ Альмуханов, придется с вами в другом месте поговорить!

— Не пугай! Жалуйся, куда и кому хочешь!

— Ах, вон как! — Байбол вскочил. — Ну подожди!

Он выбежал из юрты, так и не дотронувшись до еды. Джигиты расхохотались. Но не успели они поужинать,

как в открытой двери юрты показался Шушанян в сопровождении пяти-шести человек.

Начальник строительства был в белом заскорузлом плаще, высоких хромовых сапогах с подвернутыми, гармошкой, голенищами, белой фуражке с длинным козырьком. Одежда была в пыли, от нее и маленькая, козлиная бородка казалась рыжеватой. Джигиты разом повскакивали с мест, но Ефим Аронович предупредительно поднял руки и быстро оглядел жилище, отведенное на тридцать человек. Старая была юрта: кошма сопрела, местами продырявилась; шерстяные, некогда яркне завязки выцвели, поблекли; решетка понизу кое-где сгнила, полопалась. Конечно, в аулах имеются юрты покрасивее: высокие, просторные, с белой кошмой. Но кто даст их строителям, которые нынче здесь, а завтра там... Хорошо, что хоть такие раздобыли. Шушанян и так-то не переставал удивляться щедрости местных жителей. Многие сами привозили на канал свои юрты, в которых спасались летом от жары. Если бы не эти, веками испытанные казахские юрты, где и каким образом разместили бы несколько тысяч кетменщиков? Вдоль стенок была расстелена прошлогодняя солома, на которой спали строители. Некоторые привезли с собой постель, но, видно, тесновато было ночью в юрте.

— Приятного аппетита, товарищи! — сказал Шушанян. — Извините, что не вовремя пришли. Ехал из города, решил заглянуть. Ну, как живется?

— Слава аллаху, неплохо...

— Живем — кашу жуем...

— Хм-м. Кашу? Ну и какова каша?

— Каша как каша... Вообще-то...

— Что, не вкусна?

— Да, нет... Только жидковата малость...

Заметив, что джигиты чего-то не договаривают, Шушанян повернулся к Бекбаулу. Тот, словно ничего не замечая, усердно работал ложкой.

— Что же ты, мираб, о каше скажешь?

Бекбаул хотел промолчать. Ему не нравилось, что такой незначительный разговор возник в присутствии начальства. Но деваться теперь было некуда, и он, растерянно облизывая ложку, пробормотал:

— На кашу жаловаться грешно, а что похлебка жидковата — верно.

То, что Байбол оказался рядом с Шушаняном, сразу же насторожило Бекбаула. Этот баламут, конечно же, все дело испортит. Назло мирабу. Разве упустит он такую возможность? В предчувствии недоброго Бекбаул швырнул ложку в пустую деревянную чашку и незаметно подмигнул Байболу, дескать, промолчи. Тот ехидно ухмылялся, словно напаскудивший кот. Почуяв, что мираб в замешательстве, Байбол ухватился за заскорузлый плащ Шушаняна.

— Товарищ начальник, а, товарищ начальник...

Шушанян с удивлением посмотрел на низкорослого джигита. Тот только что жаловался ему, что обижают — не включили в список передовых кетменщиков, которым поручено продолбить перевал Ак-тюбе, в то время, когда он, Байбол, не только передовой кетменщик, но и энтузиаст.

— Товарищ начальник, мираб говорит неправду. Врет он! Уже неделю мы ничего вкусного не едим. Одной кашей брюхо набиваем. О рабочих совсем-совсем не заботится наш мираб. Вместо этого шорт знайт...

Бекбаул не выдержал.

— Молчи, ты, пустомеля! Позавчера только две овцы зарезали. Или забыл?

— Какие там овцы! Дохлятина. Одни жилы да кости. Даже стыдно говорить. «Овцы...»

— Э, откуда для тебя найдем весной ярку с жирным курдюком?!

— Захотел бы — нашел. А то не хочешь! Думаешь одной кашей нам рты позатыкать. А от нее только брюхо пучит. И днем, и ночью... тырк-тырк... шорт знайт...

Ерназаров засмеялся, похлопал смутьяна по плечу. Байбол озадаченно посмотрел на комиссара стройки. Чего смеется? Он и не заметил, как, начав серьезно, испортил свою речь недостойным «тырк-тырк...»

— Что ж, друзья... Вопрос о питании очень серьезный. Об этом следует думать постоянно. Пища должна быть вкусная и калорийная, — сказал Шушанян, обращаясь к мирабу. — А вот этого товарища... как зовут? Байбол? Включите его в список... одиннадцатым. Ничего, по мере сил поработает. Нельзя же в самом-то деле гасить энтузиазм людей.

Начальство вышло, а Байбол с победоносным видом



прошел на почетное место, важно уселся, поджав кривые ноги, и приказал:

— Эй, где моя каша? Подать сюда!

Прорыть перевал оказалось делом нелегким. Под холмом, заросшим терискемом и саксаулом, шел глубокий пласт рыхлой супеси. Надо было каким-то образом закрепить песок, чтобы он не засыпал вновь прорытую траншею. Но как укрепить берега? Одни мирабы предлагали вбить тесным рядком колья, поставить по обе стороны камышовый плетень. Другие же решительно возражали против такого способа, считая его устаревшим. Так можно укрепить берега арыков между аулами, небольших запруд, и то лишь временно. А в канале напор воды большой, он непременно снесет камышовые плетни, вода размочит берега, и песок неминуемо забьет канал. Волей-неволей придется значительно расширить русло, сделать берега пологими, наподобие котлована. Вообще в этом деле никак нельзя торопиться, постоянно твердили опытные мирабы, ибо там, где спешка, не может быть добротной работы. С этим, конечно, все соглашались, но строителей поторапливали: пришло указание — до первого мая проложить канал непременно до Чиили. А на то, чтобы пробить перевал, надо было, по крайней мере, три дня. Шушанян нашел выход: приказал оставить сто самых сильных, выносливых кетменщиков на перевале, а остальным прокладывать канал дальше.

С утра до поздней ночи без усталости трудились кетменщики. Они работали, как одержимые, с веселой злостью. Обнаженные по пояс, загорелые, мускулистые джигиты с яростью опускали стальные кетмени. Белая пыль густым облаком стояла над ними. С таким азартом, с такой лихостью в степи никогда еще не работали. Пот стекал по лицам, спинам, бокам джигитов, мышцы дрожали от напряжения, а молодые, здоровые степняки, охваченные единым порывом, единым желанием, с неслыханным упорством, подзадоривая друг друга, пробивали веками нетронутый перевал. Их зажигали, конечно, не призывные лозунги, не житейские соблазны, не награды за доблесть. Сильных и гордых джигитов сорокового года увлекали и пьянили благородные побуждения и радость труда, вдохновенного, свободного.

Сто джигитов за двое суток прорубили перевал. Ког-

да на третий день они глянули на дело своих рук — поразились. Господи, да они целую гору своротили! И опять отличились джигиты Бекбаула. Сам мираб колхоза Байсун не расставался в эти дни с кетменем. Приятели подшучивали: «Хватит тебе в мирабах ходить, Бекел! Переходи в кетменщики. Тогда нашему рекордсмену Рысдавле-ту туго будет». Действительно Бекбаул ничуть не уступал самым прославленным кетменщикам. Приятно было ему сознавать свою неумную силу и выносливость. Никогда не думал, не предполагал он, что труд может доставить столько радости и душевного удовлетворения.

Байбол-Балабол тоже старался из последних сил, не хотел отставать от знаменитых кетменщиков, однако, вскоре выдохся и только путался под ногами. Тогда Бекбаул перевел его во «внештатные советчики», но и от советов его проку было мало. Байбол взбирался на холм, принимал возмущенную позу.

— Какого черта заставляют людей в песке копать-ся?! Да разве песок когда-нибудь выгребешь? О чем эти умники только думают?! Надо было обойти перевал! Это и последнему дураку ясно. А если начальство ничего не понимает, почему у меня не спрашивает, а?!

На третий день, прорубив перевал и соединив русло, джигиты облегченно вздохнули. Первая очередь строительства канала близилась к концу.

## VI

На вороном коне, запряженном в легкий тарантас, Таутан спозаранок выехал в район. В Шаулимше он примчался еще до обеда. Кривые улочки небольшого кишлака у железной дороги утопали в пыли: серый шлейф, вздымаясь, тянулся за тарантасом. Вороной был в теле и ухожен, словно призовой скакун. Всю дорогу он яростно грыз удила и бежал легко, без понуканий, ровной крупной рысью. По улице, возле многочисленных пристроек и сараюшек, безмятежно бродили гуси, утки, индейки, которые при виде стремительно приближавшейся повозки неуклюже разбегались по сторонам. Редкие прохожие тоже жались к домам, заборам, благоразумно уступая дорогу спешившему путнику.

Таутан, не сдерживая вороного, пронесся мимо приземистых, неприглядных мазанок, обогнул площадь районного базара, проехал по огромной луже, разбрызгивая

по обе стороны жидкую грязь, и лишь возле одноэтажного желтого дома с черепичной крышей и с зарешеченными окнами резко натянул вожжи. Привязав коня, валковой походкой направился к дому. В руке он нес черный мешок, туго завязанный полосатой бечевкой. Тяжело, со скрипом открылась громоздкая дверь, и на пороге показались две женщины. Они мельком покосились на мужчину с мешком и от удивления цокнули языками. Разве не удобнее оставить мешок в тарантасе... Таутан потоптался возле двери, почему-то посмотрел на выцветшую вывеску «Сберегательная касса», пошевелил губами: «Сберегательная... сберегать... береженого бог бережет», на всякий случай еще раз оглянулся. Нет, никто за ним не следил. Да и с какой стати?.. Мало ли людей приходит в кассу... Таутан решительно нырнул в дверь.

У окошка кассы толпилось несколько человек. Таутан быстро прошел мимо них и направился прямо к кабинету в углу.

С заведующим сберегательной кассой — рыхлым, рыжеватым казаком — он был давно и, можно сказать, неплохо знаком. Едва Таутан вступил в крохотную каморку, как из-за низенького стола грузно поднялся заведующий и приветливо протянул ему руку. Таутан долго тряс ее, подобострастно улыбался, подробно расспрашивал о здоровье жены, детей, сородичей. Рыжий заведующий мигом смекнул: неспроста, должно быть, любезничает проныра-бухгалтер из колхоза Байсун.

— Какими судьбами, тамыр? — спросил он, испытующе поглядывая на гостя.

Таутан откинул полы длинной черной шинели и шмякнулся на один из свободных стульев. Потом снял шляпу, провел рукавом по лбу и бережно, точно маленького ребенка, положил себе на колени тугой черный мешок.

— Все ради детей, ради семьи хлопочем, уважаемый...

Он это сказал тихим, усталым, вроде бы виноватым голосом. Рыжий нетерпеливо покосился на черный мешок с полосатой завязкой. Облизнул толстые, потресканные губы.

— Апырмай, Такел! Неужто это все деньги?!

— Какие деньги?! Откуда у меня, почтенный, такое богатство! Живем потихоньку-помаленьку и ладно.

— Так что же это?

— Да, заем, господи. Что бы еще?..

— Заем? Целый мешок?!

У заведующего удивленно отвалилась челюсть. Его даже оторопь взяла: черный мешок черным дьяволом почудился. Этого Таутан не ожидал. Теперь поневоле начнешь уговаривать, умолять и деньги совать. А куда денешься? Не подмажешь — не поедешь.

— Две тыщонки этого займа — твои! — выдавил Таутан. Лицо его при этих словах омрачилось, брови насупились, глаза будто пленкой подернулись. — А остальное — сбереги...

— Подожди... подожди... — Заведующий вскинул обе руки и замахал кистями, будто отмахиваясь от мух. — Так... сколько у тебя в этом... мешке?

— Здесь заем на двадцать пять тысяч четыреста рублей.

— Заем — колхозный?

— Нет, мой.

— Весь?!

— Да, весь... до копейки!

— Ах, вон оно что!

Заведующий перевел дыхание, растерянно посмотрел в окно. Таутан поспешил развеять вспыхнувшие вдруг в рыжем подозрения.

— Не волнуйся. Не ворованное. И с неба тоже не свалилось. Просто накопились бумажки за многие годы. Сам знаешь: колхозников обязывают подписаться на заем. Дается план, а его следует выполнять. Для примера сам подписываешься каждый раз на большую сумму. Потом удивляешься, откуда столько взялось. А тут и родственники, дальние и близкие, волокут кипами. Дескать, на, сбереги, потом деньги вернешь... Вот и набралось.

Рыжий отвернулся от окна.

— Вообще-то с моей стороны возражений, конечно, нет. По закону разрешается хранить заем в сберкассе. — Заведующий опять замялся. — Но у тебя слишком много. За хранение придется платить. Ну, там... рублики-копейки... А подойдет срок розыгрыша, проценты, разумеется, повышаются... Немного.

— Сколько?! — испугался Таутан. Всю жизнь он имел дело с деньгами и процентами и любил точность.

— Что... сколько?

— Ну, сколько я вообще должен платить?

Было досадно: сам бухгалтер, и ничего об этих процентах не знает. Он рассчитывал, что с большой суммы со временем получит неплохие деньги. Выигрыши, погашения, мало ли еще что... Но если за хранение сдирают проценты, то, пожалуй, лучше забрать мешок и повернуть оглобли назад.

— Ну, накануне тиража с каждых двадцати рублей, скажем, взимается до пятидесяти копеек...

— А потом?

— А потом, как обычно, платишь мелочь. Сколько думаешь хранить свой заем?

— Ну, это бог знает... Уж как получится.

Рыжий неожиданно преобразился, радостно потер руки.

— Таке! Скажи, я не ослышался, а? Ты действительно сказал: две тысячи рублей?

— Да, две тысячи. На, развяжи мешок и отсчитай свою долю.

— Но чтоб потом — ни-ни! Я ничего не знаю. Мое дело — увеличить число вкладчиков и выполнить план. Все остальное меня не касается...

— Не беспокойся. Только запиши номера облигаций, которые у меня берешь.

— Это еще зачем?

— Как зачем, ойбай? Должен же я знать, какие номера мне уже не принадлежат. Или искать мне потом прикажешь?

— А... Тут ты, конечно, прав.

Рыжий взял мешок, развязал его, быстро-быстро, по-маргивая и облизываясь, одну за другой бросил на стол несколько пачек разноцветных бумажек. Потом, деловито поплевав на пальцы, с ловкостью человека, постоянно имеющего дело с деньгами, мгновенно отсчитал две тысячи и запихнул в ящик письменного стола. Навалившись всей грудью на стол, аккуратным столбиком выписал на листе бумаги серии и номера облигаций и подал Таутану. Тот пробежал глазами цифры и вернул лист назад.

— Распишись!

— Что-о?!

Рыжий выкатил глаза и даже вскочил. Таутан и бро-

вью не повел. Только чуть осклабился и подбородком показал на бумагу.

— Ты, почтенный, разве не расписываешься, когда что берешь?!

— Так это что — расписка? Что ж сразу не говорил?.. Бери тогда свой заем назад.

— Э, нет! Отступать, почтенный, не в моих правилах. Ты взял у меня две тысячи рублей? Взял! Вот она, взятка, в ящике лежит... Значит, не крути, не юли, а расписывайся, как положено.

Рыжий сначала побагровел, потом побледнел, как вылинявшая тряпка. Только теперь он вдруг сообразил, как этот тихоня-бухгалтер едва не посадил его голым задом на такыр. Да пусть он провалится со своими двумя тысячами!.. Он думал, что имеет дело с честным человеком. Да и какой глупец откажется от легкой добычи? В конце концов ему, заведующему, что? Кто-то свой заем сдает в сберегательную кассу, кто-то с него высчитывает проценты. Вот и все! Следовательно, две тысячи — просто щедрый дар, добрый жест давнишнего знакомого, залог будущих крупных выигрышей. Так он полагал. А выходит, что этот шустряк Мангазин, который и по службе ниже, и по годам моложе, пытается средь бела дня заманить его в капкан. Вон как! Значит, эти двадцать пять тысяч четырехста — сомнительные деньги. Надоело, видно, хранить заем в тайнике. Хочется его пустить в оборот, выиграть солидный куш, разбогатеть. Да к тому же в сберегательной кассе в сохранности будут лежать. Заведующий не выдаст, раз и у него рыльце в пушку. Ведь, выходит, он брал взятку. А под суд — кому охота? Вот и будет он поневоле защищать проходимца. И даже представит справку прокурору, что, мол, в сберегательной кассе на текущем счету Мангазина не имеется ни копейки. Шито-крыто! И все же, все же... недаром казахи говорят: «Конец воровства — позор». Когда-нибудь все раскроется, и тогда он, заведующий крупным учреждением района, отправится на поводу товарища Мангазина в те края, где ездят на собаках. Тьфа, тьфа, боже упаси! Какие только мысли не приходят в голову?.. А что, если сейчас поднять тревогу, вызвать свидетелей, составить акт и передать этого негодяя в руки милиции?! Вроде неловко: как-никак давнишний знакомый. Опять же, разговоры пойдут. И неизвестно, как этот пройдоха себя

поведет, как начнет изворачиваться. Дьявол знает, что у него на душе! Нет, лучше уж подальше от беды. Так вернее будет.

Рыжий передохнул, успокоился, сел.

— Мил-человек, со старшими так не шутят. Выкинь эту бумажку.

Голос его был мягкий, просительный. Он все еще надеялся, что передумает бухгалтер, и останутся в ящике его стола весомые пачки облигаций...

Таутан между тем раздумывал. Он намеревался ошеломить заведующего, заполучить расписку и взвалить, таким образом, всю ответственность на него. Ничего, шея толстая — выдержит. Однако вон как повернулось! Этого даже двумя тысячами не соблазнил. Старая сова, хочет его с толку сбить, все планы спутать. Вот уж не думал. Может, его следует припугнуть, поприжать, а?

— Аксакал, не валяйте дурака! Подпишите скорее, не то...

— Не то, что?!

— Шум подниму. Скажу: взятку требовал...

Таутан тут же почувствовал, как неубедительно, даже жалко прозвучал сейчас его голос. Ему стало мгновению ясно, что напрасно он грозит, что в яму, которую рыл для другого, сам вот-вот свалится. Холодный пот прошиб его. Пока не поздно, нужно повернуть все в шутку. Но шутка не получилась. Неожиданно для самого себя Таутан ляпнул:

— Если две тысячи тебе мало, бери еще столько же! Только дай расписку, рыжая собака!

И как это у него вывалось — хоть убей, не помнит. Наверное, от досады. Или растерянности.

Заведующий опешил, задохнулся, начал хватать ртом воздух. Глаза налились кровью, страшно выкатились. Он не мог вымолвить ни слова... Наконец, судорожно выдернул ящик и начал одну за другой швырять пачки облигаций на стол. У бухгалтера встопорщилась щетина на лице, нос странно покосился набок.

— Ах ты, щенок, прохвост! Сгинь с моих глаз, пока я не вытряс поганую твою душу!.. — взревел заведующий, дрожа всем своим рыхлым телом и грозно надвигаясь на Таутана.

Таутан, схватив черный мешок, выскользнул за дверь.

День по-весеннему ласков. Под корявыми кустами густо выбилась нежная мурава. Джида и тальник украсились зелеными листьями и, охваченные молодой истомой, дремали. Воздух был вязкий, хмельной. В многоголосый птичий гомон, который стоял над степью, вплетаются и безумолчное и ликующее пение жаворонка в вышине, и надрывное кукование кукушки, и стрекотание суетливой сороки, и карканье старой ворчуни-вороны. Много птиц в степи весной. По ложинам и ложбинам, которыми вдоль и поперек изрезана степь, текут звонкие ручьи. Запах зелени перемешался с гарью: где-то сжигают прошлогоднюю нескошенную траву. По небу плывут перистые облака.

В овраге, густо поросшем кустами, лежит, подстелив шинель, Таутан и смачно поплеывает по сторонам. За губой его заложен насыбай. Неподалеку, волоча чембур, пасется вороной. Над ним вьется мошка, и вороной отгоняет ее, лениво постегивая себя длинным, струящимся хвостом по крутым бокам.

Рядом с Таутаном бугрится черный мешок. Он изредка поглаживает его мохнатый бок и время от времени поглядывает в сторону районного центра. Все нутро главного бухгалтера колхоза Байсун горит огнем злости и досады. Он до сих пор не может прийти в себя, и мысли разбегаются во все стороны, точно мыши. Как назло, все вокруг цветет, сияет, радуется весне, а Таутану от всей этой благодати ничуть не легче. Черный дым раздражает, распирает его узкую, тощую грудь... Едкий, удушливый дым... Как он мог так опростоволоситься?! Поташился, дурень, с мешком облигаций в кассу. Как над желторотым юнцом посмеялась над ним судьба. Не иначе, как сам дьявол сбил его в ясный день с пути. Хорошо еще, что этот проклятый рыжий не передал его милиции. Уберег от беды всевышний. Да проку-то! Теперь есть свидетель, посвященный в его тайну. Хранил бы свое сокровище по-прежнему в овраге Жидели — и никаких бы забот и тревог. Переждал бы несколько годочков, а потом потихоньку, понемногу извлекал бы на свет божий свое богатство. Небось не сгнил бы черный мешок. А теперь его и не спрячешь на прежнем месте. Разве можно сейчас людям верить? Он, Таутан, никогда никому ни в



чем не доверял. Доверчивого непременно какой-нибудь жулик облапошит. В этом Таутан совершенно убежден. Еще в школе, помнится, он покорно выслушивал советы и назидания родителей и учителей, потому что чувствовал: взрослым нравятся покорные и послушные. Он кивал головой, поддакивал, охотно соглашался, но в душе только усмехался. Он очень скоро сообразил, что послушание оборачивается определенной выгодой. Успехами в учебе он не выделялся, однако, умел держаться на виду и слыл активным, прилежным мальчиком...

Сумбур царил сегодня в голове главного бухгалтера. Непонятное беспокойство овладело им. Вокруг курилась подсыхающая весенняя степь. В легком мареве плыл разморенный воздух. Солнце поднялось высоко и будто широким теплым языком лизало его голую шею и затылок. Он покусывал, пожевывал кончик обвислых усов. Может, от насыбая рябит в глазах и кружится голова? Зеленый табак, если его часто закладывать за губу, действует, как дурман, и обволакивает мозги. Рыжий так его расстроил, что Таутан всю дорогу то и дело вытаскивал из кармана пузырек с запашистым зельем.

Да-а... Не везет что-то. Конечно, кое-кто считает, что раз он главный бухгалтер колхоза, то немало ему перепадает из общей кормушки. Черта с два! Так и позволит Сейтназар запускать руку в колхозный карман. Этот дьявол днем и ночью не спускает с тебя глаз. Когда-то председатель сам был бухгалтером в этом колхозе. И дело свое знал крепко. Ни одна копейка от него не улизнет. Если заметит липу, ни за что документ не подпишет. Это он научил Таутана бухгалтерскому делу. Не поймешь, что за человек этот Сейтназар. То ли совершенно безразличен к личным радостям и благам, то ли просто хитер и не поддается на мелкие соблазны. Может, у него такая статья дохода, о которой бухгалтер и не догадывается?

Таутан не смог долго учиться, как некоторые. Да, собственно, и желания особого не было. А теперь видел: тот, кто учился — преуспевал. Помнится, был у них учитель географии. Почему-то невзлюбил он Таутана: придирался, насмехался по всякому поводу. Как-то даже выступил против избрания Таутана в совет дружины. Какая причина? «Мне не нравятся глаза Мангазина», — заявил учитель. (На себя бы лучше посмотрел!) Директором школы был один из дальних родственников. Естественно, он

оскорбился: «Ну, и что из этого?» Учитель географии спокойно ответил: «У Мангазина неприятная привычка: он не смотрит прямо на людей, а все время озирается, оглядывается, глаза прячет... Нет в нем детской искренности и непосредственности.» «Э, откуда ты знаешь?!» — поморщился директор. «Каждый педагог должен быть и психологом, — пустился в рассуждения географ. — Психологические ощущения подсказывают, что...» Стоявший за дверью директорского кабинета Таутан остальное слушать не стал, а, задыхаясь от гнева и обиды, выскочил на улицу. Так и не избрали его тогда в совет дружины. А учитель географии вскоре уехал в Алма-Ату. Совсем недавно Таутан прочел его фамилию в газете. То ли он доктор наук, то ли даже академик. Наверняка и машина есть, и денег — полный карман.

Многие из тех, кого он знает в этом краю, обскакали его в последнее время. Почему они его, а не он, Мангазин, — их? Чем он хуже? Ну, возьмем хотя бы этого... Сейтназара. Он ничуть не грамотнее, только удачливей. Ведь, если на то пошло, Таутан не хуже председателя разбирается в колхозных делах. И простым народом руководить умеет. А у Сейтназара по части происхождения не все в порядке. Отец его был дамуллой, иначе говоря, представителем эксплуататорского класса. Правда, рассказывают, был он честен и справедлив. И всегда заступался за черный люд. Ну и пусть! Мангазину это все равно. Главное — дамуллой был? Был. Сейтназар его кровный сын? Да. Следовательно, кто более в этом колхозе подходит на пост баскармы? Конечно же, Таутан. Однако районное начальство этого не понимает. И понимать не желает. А почему? Может, не помещает социальным происхождением и районного начальства поинтересоваться?

В представлении Таутана, во всей округе Шаулимше людей чистых и надежных — раз-два и обчелся. Даже тех, чьи отцы и деды вплоть до седьмого колена были бесспорными бедняками, Таутан с легкостью причислял к «прихвостням» или, в лучшем случае, к «попутчикам». Иногда он затруднялся, не зная, к какой же категории относится он сам. В жизни он не прочитал ни одной книги до конца (хотя в этом, разумеется, никому не признавался), вокруг себя не видел проблеска света, однако, судить обо всем на свете — страсть как любил. Однажды

вызвал Сейтназар его к себе. «Слушай,— сказал он и недовольно поморщился,— ты когда оставишь свои левацкие замашки? Ты знай свое дело, щелкай на счетах да поприми хвост. Понял? Так-то лучше будет!» Ну, ясное дело, с глазу на глаз с баскармой не поцапаешься. Таутан извинился, покаялся, еле отговорился. Не дай бог навлечь на себя гнев председателя. Запросто с работы снимет и по миру пустит. Подать на него жалобу или анонимку — тоже пользы нет. Сейтназар в почете, его расхваливают на каждом собрании. Станет начальство слушать жалобы бухгалтера! В лучшем случае по плечу похлопает да выпроводит вон.

Вот так и живешь серой, тусклой жизнью: ни власти у тебя большой, чтобы простыми смертными повелевать, ни денег тугой мощны. Нет, не о такой судьбе он мечтал. Какой смысл в такой собачьей жизни, если даже паршивым аулом распоряжаться не можешь?!

Однако и отчаянию поддаваться не стоит. Нужно обуздать гордыню. И терпеть. Терпеть и ждать. Верить в свою звезду. И тогда к сыну Мангазы придет желанный день. Нужно только быть осторожным. Чтобы не пристала к имени дурная слава. Первым делом, следует куда-то упрятать этот проклятый мешок. Пусть лежит в потайном месте, чтоб ни одна живая душа о том не догадалась. Держись скромно, незаметно. Не возражай никому никогда. Глубоко схорони в душе все свои тайны, думы, желания. Зря не болтай. А если что скажешь, то в строгом и полном соответствии с духом времени и очередных постановлений и решений. Водку ты не пьешь, это очень хорошо. Теперь отвыкай и от насыбая. Не к лицу насыбай джигиту, у которого, может быть, большое будущее. Да к тому же, говорят, и здоровью вредно. А здоровье еще пригодится! Сын Мангазы обязан долго жить. Иначе он не успеет вдоволь насладиться жизнью. Это гениям позволено умирать рано, удивляя грядущих потомков. А он, слава богу, не гений, и судьба потомков его не тревожит. Таутану нужны покой и благополучие.

Что ж... Пожалуй, пора. И вороной, должно быть, отдохнул. Надо ехать дальше. Облака на небе сбились в плотную, черную тучу. Пока не полил весенний дождь, следует добраться до аула.

Сегодня Таутан был весел. Он изредка похлопывал вороного вожжами, озирался по сторонам, мурлыкал под нос бойкий мотивчик. На задке телеги время от времени жалобно блеяла жирная ярка. Ехал Таутан к аулчанам — строителям канала. Сейчас они работали уже не подалеку от аула.

Таутан имел все основания быть веселым. Досадная неприятность в сберегательной кассе обошлась без последствий. Более того, на днях он выиграл по таблице, сдал в кассу две-три облигации и беспрепятственно получил деньги. Видно, рыжий решил оставить его в покое. А потом, неделю тому назад, сухопарая и черная, как кочерга, баба Таутана родила ему после четырех девочек — здоровенного сына, наполнив дом радостью. Наконец-то жена избавилась от постоянных упреков мужа, долгие годы требовавшего от нее законного наследника. Вспомнишь — смех разбирает... Когда жена ровесника Ултангалия родила не раз, а дважды мальчиков-близнецов, снедаемый завистью Таутан набросился на жену с побоями: «Ну, а ты-то, ты-то о чем думаешь?!» Видно, если каждый божий день колотить бабу, то она, бедная, поневоле сыном разродится... Таутан довольно усмехнулся.

Послышался скрип телеги, и вскоре на дороге показался старый Карл Карлович. Должно быть, отвозил кетменщикам горячий обед, а теперь возвращался в аул. Старик свернул на обочину, но бухгалтер, поравнявшись, натянул поводья, попридержав вороного.

— Ассалаумагалейкум, Карл Карлович! — весело поздоровался бухгалтер.

— Э, уагалейкум салам, нашандык!<sup>1</sup> Уа, куда путь держишь?

— На канал. Джигитам гостинец везу. — Таутан кивнул на ярку. — Как дела, аксакал? У кассира был? Деньги, которые я выписал, получил?

— Получить-то получил. Только кассир твой не все выдал. Тут же высчитал пять рублей. Говорит: холостяцкий налог. Как это? С семидесятилетнего старика какой спрос? Старуха умерла. Я, конечно, не прочь какую-ни-

<sup>1</sup> Искаженное: начальник.

будь длиннополую в дом привести, чтобы налог холостяцкий не платить. Только где ее возьмешь, длиннополую-то?

Старику было скучно, а Таутан тоже не спешил. Почему бы и не поболтать в степи, на чистом воздухе...

— Ай, Карл Карлович! Нашел, о чем говорить... Пять рублей! Кассиру, бедному, ведь тоже жить надо...

— Тогда пусть не обманывает!— загорячился старик.— Пусть прямо скажет: дай, помоги. А потом, дорогой нашандык, и у нас ведь не больно жирно. Пять рублей для нас — о-хо-хо!— тоже кое-что значит.

— Не плачь, старик. Не приbedняйся. Ты же в городе бываешь, по базарам шастаешь. Небось карман не пустой, а?!

— Какой карман?!— Старик провел ладонью по худощавому безбородому лицу. В серых, глубоко запятанных глазах блеснул неприязненный, холодный огонек.— Был бы у меня хотя бы заем... может быть, выиграл бы разок...

У Таутана екнуло сердце. На что этот старый дуралей намекает?.. Неужто пронюхал, что он выиграл и получил в кассе деньги? Но ведь заем сейчас у всех есть. И выигрыши получает не он один. Нет, зря встревожился.

— Для этого, Карл Карлович, нужно подписываться на заем. Да побольше, как это я, например, делаю. Во время подписки вы по углам прячетесь, а потом скулите.

— Что ж... По возможности и мы подписываемся. Но что толку? Вот был бы у меня целый мешок...

При этих словах у Таутана засвербило темя. Эй, эй, откуда ему про мешок известно? Ведь о нем, кроме рыжего из районной кассы, никто не знает. А тот, будь он хоть трижды дурак, не станет же рассказывать об этом какому-то пришельцу-немцу. Ну, конечно, с какой стати... Тогда что этот мелет?

— Оу, старик, где это ты столько облигаций видел — целый мешок?!— Таутан прикинулся удивленным и даже наивно рассмеялся. Однако глаза беспокойно забегали, незаметно ощупывая Карла Карловича.— Если нашел такой клад, и нам скажи: поделимся, а?

Старик-извозчик чуть усмехнулся, но ничего не ответил. Покрутил кнутом над головой, хлестнул гнедого по крупу, присвистнул: «Фьють, скотина!» Гнедой, прядая

ушами, тщетно норовил вцепиться зубами в загривок во-роного, но, едва почуяв кнут, дернулся, с места пошел рысью.

Таутан растерянно посмотрел вслед...

На канал он приехал к обеду. Кетменщики отдыхали. Огонь горел в жер-ошаках — продолговатых ямах в земле. Над ними громоздились котлы. От них валил густой пар. Между юртами сновали джигиты. Слышался веселый гомон. Развевались красные флаги, пестрели плакаты, горели лозунги. Таутан еще издали прочитал: «Под знаменем Ленина, под предводительством великого Сталина — вперед к победе социализма!» — и тут же про себя отметил, что лозунг хороший, его не мешает выучить наизусть, чтобы потом на собраниях заканчивать им речи. Главбух достал записную книжку, помусолил карандаш, аккуратно списал лозунг, шевеля при этом губами. За этим занятием и заметил его Бекбаул. Закинув руки за пояс, медленной развалочкой пошел он навстречу. Бекбаул еще больше раздался в плечах, окреп, большие глаза прямо-таки светились от радости, в голосе появились басовитые нотки, жест стал уверенный, спокойный. Ай да зятек! Совсем не похож на измученного, пропыленного кетменщика. Бодр, легок. Подошел не спеша, брови вскинул и, не здороваясь, поинтересовался:

— Ау, Таке! Что это вы строчите?

Таутан сунул записную книжку в карман.

— А, это... ваши трудовые показатели записываю. Потом пригодятся, когда трудодни выписывать будем...

— А-а-а,— протянул Бекбаул.

В самом деле, перед ними стоял черный щит, исчерканный мелом: производственные показатели кетменщиков за последние пять дней.

— Что за овца на телеге?

— Вам подарок от меня. Кстати, собственная ярочка. Работа у джигитов, думаю, нелегкая. Пусть отведают свежего мяса.

— Апырмай, до чего вы догадливы. Вот что значит — шурин! Давно уж мяса не нюхали... Байбол, например, ноги вот-вот протянет. Такой зануда... все ему не так...

Приговаривая, приборматывая, мираб аула Байсун навалился на борта телеги, оценивающе оглядел, ощупал лежавшую спокойно на задке тугобокую, в мелких кудряшках ярку. Казах понимает толк в скотине. Жирная, с

тяжело нависшим плотным курдюком овца пришлась Бекбаулу по душе.

Главбух это сразу почувствовал и весь заулыбался, довольно погладил усы.

— Но только,— сказал он,— одной овцы вам всем не хватит... Соберешь дружков-приятелей, полакомишься...

— Ну, это уж не твоя забота, дорогой шурин. Ты только почаще доставляй нам такие подарки, а все остальное мы сами обтяпаем.

— Легко сказать «доставляй». Для вас у меня другой скотины нет. И эту-то приволок, можно сказать, ради тебя... Сам ведь понимаешь, а?

Таутан плутовато ухмыльнулся. Бекбаул решил позубоскалить над шурином.

— Хе-хе... Что ж тут не понимать? Думаю: просто потчуеть любимого зятя. Не так ли?

— Эй, а какого дьявола я потчевать тебя обязан?

— Не знаю, не знаю. Может, поскольку твой зять ныне человек видный, ты решил потуже завязать узы родства, а?

— О! Это уже другой разговор, парены!— полушутя-полусерьезно заметил Таутан.— Что же тут зазорного, если мы укрепим наше родство?! Все знают: ты — мой зять, я — твой шурин. Честной девушкой пошла за тебя моя сестренка, Зубайражан. Попробуй отвертеться, а, зятек?

Бекбаул только кивал головой. Что правда, то правда. Светлый лик Зубайры не потускнел в его памяти. А раз так — он и Таутана не может считать чужим. Правда, и при жизни Зубайры они не питали друг к другу родственных чувств. Нельзя сказать, что все у них было общее, что часто ходили друг к другу, и жили душа в душу. Однако и не бывало, чтобы ссорились, обижались. Были неизменно вежливы и взаимно приветливы. Лишь однажды, прошлой зимой, пришел Бекбаул на зимовье по следам шурина, и ни с того, ни с сего разозлил его. Ну, это не в счет. Тогда Бекбаул ходил подавленный, растерянный. Теперь же его не узнать. Сейчас он человек знатный, понимает что к чему. На жизнь смотрит уверенно и открыто. Должно быть, на пользу пошла среда крепких, здоровых и простодушных джигитов. В нем появилась вера в людей, в то, что они прекрасны и искренни. И к Бекбаулу на стройке все так относятся. С ним всегда ува-

жительно разговаривают и Шушанян, и Ерназаров, и Сейтназар... В последнее время он стал даже привыкать к такому почету. А теперь и Таутан, главный бухгалтер колхоза, приезжает к нему. Да не с пустыми руками, а с ярочкой! Вон какую честь оказывают неприметному, незаметному сыну старика Альмухана! О, дай срок — то ли еще будет!..

Бекбаула приятно покачивало на крыльях славы. Он как бы невзначай махнул шурина, небрежно сказал:

— Ну, отвези свою ярку вон к той юрте, а я пошел в штаб.

Где это видано, чтобы у казахов зять вел себя так непочтительно с шурином, тем более, если шурин и годами старше, и по должности выше?! Но Бекбаул ничего не замечал. Он уходил так же не торопясь, вразвалку, и Таутан, провожая его взглядом, ничуть не оскорбился, а наоборот, даже с восхищением подумал: «Апырмай, этот дурень человеком становится!»

\* \* \*

Однажды на телеге Карла Карловича неожиданно приехала к строителям канала Нурия. Приезд ее вызвал разные кривотолки. Избалованная, гордая женщина редко переступала даже порог собственного дома. А тут она вдруг заявила о своем намерении поработать поваром. Одни полагали, что не иначе, как сам председатель, стыдясь колхозников, заставил свою белоручку-жену выйти на работу. Другие утверждали, что председатель умеет только другими командовать, а дома даже рта раскрыть не смеет, ибо побаивается норовистой жены, и, следовательно, на канал Нурия приехала отнюдь не по приказу мужа, а по какой-то бабской прихоти, которая пока является тайной.

Кичливая председательша на деле оказалась расторопной, толковой бабой. Она мигом подчинила себе всех поваров на канале, и те беспрекословно выполняли все ее бесчисленные распоряжения. Кетменщики с удивлением отметили, что с приездом Нурии еда стала вкусней и разнообразней. Первым долгом, по ее просьбе, джигиты слепили в нескольких местах тандыры — нехитрые приспособления для выпечки лепешек. Испеченные в тандыре тонкие, с румяной корочкой лепешки необыкновенно



вкусны. Работа в руках Нурии спорилась. Она замешивала сразу целый мешок муки и за полдня наполняла брюхастый ларь душистыми лепешками из пресного теста. Ешь — не хочу. Нурия прослыла кудесницей-стряпухой. Отовсюду собирались кетменщики, чтобы отведать за чаем ее необыкновенных лепешек. Бухгалтер Таутан завел на жену председателя трудовую книжку и приписывал ей такие трудоводни, о каких в колхозе никто и не мечтал.

Однако Нурия меньше всего заботилась о славе стряпухи. И работой своей никого не хотела удивлять. Мать-покойница в свое время славилась на всю округу искусством стряпухи, и Нурия еще девочкой научилась у нее кое-чему. И вот урок пошел впрок. Оказывается, кетменщикам очень нравятся ее плов с поджаренным лучком, с сушеным урюком и изюмом, а также лепешки, испеченные в раскаленном тандыре, ну и слеза богу, пусть едят себе на здоровье. Работа у них трудная, изнурительная, а для Нурии готовить — просто забава. Трудодни ей не нужны. Пусть Таутан их себе забирает, если хочет. Ее «робкий ягненок» зарабатывает предостаточно, и она полновластная хозяйка в доме. Что хочет, то и делает, и никто ей не указ. Всего хватает и даже родственникам перепадает. Дай бог, чтобы «робкий ягненок» и впредь был жив-здоров, и не изменяла ему удача.

Но уж так создан божий мир, что в нем всегда чего-нибудь да недостает. Разве найдешь смертного, который был бы счастлив во всех отношениях?! Так и у ней, гордой Нурии, достаточно было своего горя и своих забот. С тех пор, как умер от кори единственный ребенок, она уже столько лет не знала счастливых ночей. В мечтах о ребенке к каким только врачам, лекарям, знахарям и святым она не обращалась, к каким только средствам не прибегала, и все тщетно, все напрасно. И тогда Нурия кинулась искать утешение, чтоб только забыть свое горе, развеять неизбывную бабью тоску. Конечно, в утешители Сейтназар не годился. Единственная его забота — колхоз. Из дома уходит рано, возвращается поздно. Едва коснувшись подушки — храпит. К жене, бывает, не повернется. Нурия вздыхает, ворочается в постели, но мужа не будит, не тревожит, потому что понимает: умаялся бедный, не до ласки ему, не до любви. Высосала его колхозная работа, да и сам он суетливый, беспокойный, день-

деньской с коня не слезает. Так утешала себя Нурия, жалела мужа, не говорила обидных слов и мучилась долгими ночами, чувствуя, как в страстной истоме сжимается сердце. Наконец, не вытерпев, она съездила в область, раздобыла путевку и отправилась на курорт в Егиз-куль лечить «бабью хворь». С курорта Нурия вернулась, словно красная лисица, вывалявшаяся на чистом снегу. Чудо сотворили с председательшей соленая вода и грязевые ванны Егиз-куля.

На следующий год Сейтназар сам выхлопотал жене путевку. Но то ли что-то заподозрил, то ли надоело одиночество, кто знает, только вскоре муж решительно заявил, что такой видной женщине не к лицу по курортам шляться, и привез ее из Егиз-куля домой. Конечно, Нурия могла бы заупрямиться, однако это только усугубило бы подозрения мужа. А ссориться с «робким ягненком» Нурия не желала. Кому нужна бесплодная баба не первой молодости? Где она найдет такую сытую, беззаботную жизнь? Не прозябать же у родственников, которые сами надеются на ее подачки. Нет, Нурия не так глупа. Правда, к Сейтназару она давно уже не пылает любовью. Прошло то время. Но и разлучиться с ним не хочет. Сейтназару-то что? Он председатель передового колхоза. За него с радостью любая баба пойдет. Боже упаси! Лучше уж забудет она про все курорты и посидит тихо-мирно дома...

Увидев Нурию в юрте среди аулчан, Бекбаул мрачно насупил. Он явно избегал встречи с любовницей, старался не замечать ее. Даже назло ей уходил ночевать к кетменщикам соседнего аула. Он был зол: тут, как говорится, высморкаться времени нет, а у этой бабы одно на уме... В тридцать пять все еще не перебесилась. А он... сыт ее любовью и не желает, чтобы трепали его имя. И так осквернил память незабвенной Зубайры. Эх, нет в округе женщины, подобной ей! Стройная была, как тростиночка, ласковая. Простодушная, точно дитя. И добрая улыбка не сходила с лица. Смех звучал будто колокольчик — от самого сердца. И глаза были, как у маленького верблюжонка. Да-а... еще не скоро, видать, ее забудет. Не скоро... До сих пор не хочется верить, что ее нет. Кажется, задержалась где-то в аулах Кызылкума и однажды, в один счастливый день, радостно улыбаясь, вновь придет домой.

Конечно, и Нурия — баба видная, яркая. Любому мужику под стать. И себе цену знает. Держится с достоинством, кроме Бекбаула, никого к себе близко не подпускает. Может, действительно, любит. Только совсем не нужно это Бекбаулу. А потому надо встретиться с ней, поговорить откровенно, и раз и навсегда оборвать все ее надежды...

Вечером, уже при сумерках, когда каждый был занят своими делами, он подошел к очагу, возле которого хлопотала Нурия, и дал ей знак. Они поднялись на глиняный вал и быстро спустились на ровное дно канала. Вечер был теплый, тихий. Луна молочным светом заливала степь. Причудливые тени расстилались у ног. На огромном куполе неба едва заметно мерцали южные звезды. В вечерней тиши отчетливо доносились со стороны юрт оживленные голоса, веселый смех, бормотание думбры.

Нурия запыхалась, пока спустилась по крутому склону.

Бекбаул не дал ей опомниться:

— Ну! — сказал грубо. — Перестанешь меня преследовать или нет? Тебе что, мужа мало?! Совсем уже... рехнулась?!

Нурия застыла как от удара, вытаращила глаза. Потом вдруг обеими руками зажала рот и вся затряслась, задыхнулась от душивших ее слез. Этого Бекбаул никак не ожидал. Он растерян и глухо пробормотал:

— Ойпырмай, вечно у баб глаза на мокром месте... Ну, ну, как прикажешь тебя утешить, а?

— И не утеша-а-ай... — хрипло выдавила Нурия. Он никогда не видел эту властную, сдержанную женщину такой жалкой и несчастной. — И совсем не преследую я тебя... К чему, если не нужна больше... О-о-о... Я хотела... хотела... тебе, дураку, только весть добрую сообщить... А ты... О-о... ты еще кричишь на меня... Ребенок у меня, понял? Забеременела я... от тебя, понял?... Вот, что хотела сказать... О-о-ой!..

— Не реви! Какой еще ребенок?

— Об-обык... обыкновенный, у-у...

— Эй, айналайн, успокойся, и скажи-ка толком.

— Ребенок... от тебя... вот...

— А может, Сейтназара? Откуда ты знаешь?

— Нет, твой, твой... знаю-ю...

— Вот это мы, дорогая, влипли! — Бекбаул, не зная,

что сказать, закинул голову и долго смотрел на мерцающую над ним одинокую звездочку.— Нечего сказать — доигрались!

### VIII

Первого мая на площади главного базара Шаулимше состоялся большой митинг. На торжество в честь окончания первой очереди строительства канала собрались все, у кого только ходили ноги. Над собравшимся людом развевались алые знамена. Май выдался на юге жарким, из пустыни дул раскаленный ветер. Народ, столпившись вокруг наспех сколоченной трибуны, изнывал от жары и тщетно пытался понять, о чем, так надрываясь, говорили ораторы. Микрофоны и репродукторы в эти края еще не пришли. И люди, главным образом, ориентировались на тех, кто стоял поближе к трибуне: вместе с ними хлопали в ладоши и кричали «ура»! Чересчур любопытные вставали на цыпочки, вытягивали шеи, развевали рты и переспрашивали друг у друга: «Что тот долговязый сказал?», «Эй, чего смеетесь?», «Чего этот козлобородый распинается?»

Бекбаулу выпала неслыханная честь: ему досталось место на трибуне. Он скромно пристроился с краю и сильно щурился — солнце било прямо в глаза. О том, что он будет стоять на трибуне, его заранее предупредили, и Бекбаул вырядился в самое лучшее, что у него оказалось дома. Он был в широкополой соломенной шляпе, в белой, с иголки, сорочке с прямым, высоким воротником, в серых суконных брюках, туго подпоясанных широким ремнем с блестящей пряжкой. На лице его играла улыбка: полугордая, полусмущенная. И как ему было не гордиться, когда даже председателю Сейтназару и главбуху Таутану не нашлось места на высокой трибуне. А он, сын Альмухана, стоял, как равный, среди лучших людей района и области. Он слушал, но не вникал в смысл восторженных речей охрипших ораторов, ибо был взволнован, а слова говорились весомые, заковыристые. К его сознанию еле пробивались лишь многочисленные «Да здравствует!», «Слава великому!» и «Вперед к победе!». Бекбаул вытягивался и хлопал, не щадя мозолистых ладоней. В высокопарных словах недостатка не было. Хвалили многих. И почти каждый оратор счел

нужным назвать знатного строителя Альмуханова. Вначале Бекбаул каждый раз вздрагивал, краснел, услышав свою фамилию. Но вскоре показалось, что так и должно быть. Более того, было странно и неприятно, когда его фамилию недостаточно часто произносили.

Наконец, слово предоставили секретарю обкома для оглашения указа правительства по случаю окончания первой очереди строительства Чиийлийского канала, и Бекбаул затаил дыхание, наострил уши. Сердце гулко заколотилось...

— Товарищи! Указом правительства трое из строителей канала награждены орденом Трудового Красного Знамени...— Секретарь сделал паузу, откашлялся. «Всего три ордена? Почему так мало?»— с тревогой подумал Бекбаул.— Один из этих трех — старший мираб колхоза Байсун товарищ Альмуханов Бекбаул. Второй...

Голос секретаря утонул в восторженном гуле и аплодисментах. Толпа колыхнулась. Стоявшие на трибуне бросились поздравлять Бекбаула, подолгу трясли его руку. Бекбаул смущенно молчал и только бессмысленно улыбался. И все вокруг — широкая базарная площадь, тысячи людей в пестрых одеждах, высокое голубое небо, слепящее солнце — покачнулось, закружилось, сливаясь бесчисленными красками...

Удивительное это чувство — радости! Особенно, когда она обрушивается сразу, будто поток. Она оглушает, не дает опомниться, стремительно уносит тебя куда-то на своих легких крыльях. Ты находишься между сном и явью, и ликует, торжествует твоя душа.

Бекбаул помнил, как слабость ударила вдруг в ноги, как еле сошел с трибуны. Друзья, приятели окружили его, возбужденно шумели, повели куда-то. Помнил Бекбаул еще, как они всей гурьбой ввалились в одну из юрт, выстроившихся в ряд на базарной площади, как без конца и попеременно пили весенний золотистый кумыс из огромных бурдюков и густое багровое вино из деревянных бочек, как ни с того, ни с сего вспыхнула буча, начался скандал и чей-то ядреный кулак со всего размаху угодил ему в лицо. А потом Бекбаул будто провалился в бездну.

Проснулся он от непривычной, жуткой головной боли и сразу догадался, что находится дома, лежит на вчетверо сложенных подстилках. Заметив, что сын пришел в себя, мать начала ворчать.

— Не хватало, чтобы ты еще воду дьявола лакал! Мы тут радуемся, думаем, человеком стал. А он вон чему научился, несчастный! Срам! Стыд!

У порога сидел отец, подтачивая кетмень.

— Эй, старуха, не скули! Власть дала ему ордын, вот он и погулял маленько с дружками... На радостях чего не бывает?.. Раньше он к этой водке вонючей и не притрагивался...

Верно: не имел Бекбаул пристрастия к хмельному. Да и где найдешь его? Бывает, привозят иногда, но мигом расхватают торгаши и спекулянты. И вот наконец дорвался и нализался до одури. Называется, обмыл награду. Как воду хлестал красное вино из пузатых бочек, вынесенных в честь торжества из темных подвалов на свет божий. И, должно быть, не только пил, но и нес разный вздор, кого-то оскорбил, кому-то закатил оплеуху, пока его самого не отдубасили. Вон какой синяк у виска. И под глазом — фонарь. Не посмотрели, что знатный человек, передовик, орденоносец. Весь авторитет пропал, развеялся. Может, если начальство узнает, и орден отберут? Вообще-то, не должно быть. Не горький пьяница же он. Учтут, наверное, что впервые с ним такое случилось. И все же, действительно, стыдно. Права старуха-мать: срам, позор. Новая, с иголки, сорочка изодрана в клочья. Конечно, не до радости бедной матери.

По тому, как лучи прямо падали в окно, день близился к обеду. Он сел на разбросанной постели, понуро свесил голову, хмуро спросил:

— Кто же меня домой-то привез?

Видно, мать не на шутку обиделась на сына.

— А зачем тебе это?! Или побрякушку свою подарить желаешь?— Должно быть, орден имела ввиду старуха.— Если такой щедрый, иди, одаривай хромого Карла... Как козлиную тушу приволок он тебя домой!

Ах, вон оно что! Значит, добрый Карл Карлович привез его в аул, от греха подальше. И на том спасибо, конечно.

Он стянул с себя изодранную, помятую сорочку, переоделся, взял бокастый чугунный кумган и вышел. Помывшись холодной водой, почувствовал облегчение, выкатил ногой из-под навеса круглый чурбан, тяжело опустился на него. Во рту было сухо, гадко, сердце бухало молотом в груди. Он видел, как отец возился с мед-

ным чайником. Может, крепкий, горячий чай разгонит дурман?

Неподалеку густо рос колючий тростник. Он цвел алым цветом, слегка покачиваясь, и казалось, что колыхался тугой ворс шелковистого ковра. Из верховья степи струился аромат цветов и трав. У ног, вокруг небольшой песчаной кучки, сустились муравьи. За плетнем, в саду, буйно цвели бухарская джида и урюк. Особенно красивы были нежные, белые лепестки ныне запоздало зацветшего урюка. Солнце щедро поливало теплыми лучами землю. Почва набухала, разрыхлялась, дышала паром. Самая пора для полевых работ. Воды ныне вдоволь. Урожайный будет, видно, год. Байсунцы, конечно, копаются целыми днями в садах, на бахче, сеют арбузы, дыни. Куда, интересно, баскарма направит джигитов, вернувшихся с канала? Куда пойдет он, Бекбаул? То ли снова на бахчу потопает, закинув на плечо кетмень, то ли мирабом так и останется? Впрочем, не все ли равно? По-прежнему вся надежда на силу рук и крепость кетменя. Сын кетменщика, он и сам проживет свой век кетменщиком. И ничего зазорного в том нет. Отдохнет денька два-три, очухается и зайдет к Сейтназару.

Осенью, говорят, будут дальше тянуть Чиилийский канал. До этого придется чем-нибудь заняться. Надо же, как он успел привыкнуть к многолюдью, к единому порыву одной целью охваченного коллектива. Прежняя размеренная, с прохладцей, работа, однообразная жизнь кажутся теперь ужасно скучными, тоскливыми. Конечно, и в колхозе забот хватает, никто не сидит сложа руки. И все же, разве можно сравнить колхозную работу с зажигательным темпом, веселым озорством строителей канала, живущих и работающих бок о бок, плечом к плечу?!

Опять противно заныло в висках. Надо же было так безбожно напиться... Все, кажется, началось с большего того верзилы, который начал задирать его. «Ты, милый, не особенно хорохорься! Подумаешь, орден получил. Знаем, за какие заслуги... Всю дорогу с Шушаняном шушукался... Вот он и удружил. Иначе с какой стати тебе орден? Ну, сам скажи! Сколько таких, которые в сто раз больше тебя вкалывали!» Вначале Бекбаул молча слушал. Только сколько можно терпеть?! Когда вино ударило в голову, он рассвирепел и хрястнул задиру-болтуна.

И удачно, должно быть, смазал по его роже. Потому что скосоротился большеротый и сразу умолк...

До чего же ласков и уютен майский день! Приятно припекает солнце сквозь тонкую рубаху, будто убаюкивает своим теплом, нежит душу, навеивает истому и легкую дрему.

Скрипнула дверь приземистой мазанки; старик, высунув голову, глянул на сына, одиноко сидевшего на чурбане, и позвал его пить чай.

\* \* \*

Таутан наелся мяса, напился чаю и был очень доволен. Достав из кармана большущий платок, с половину молитвенного коврика, он вытер пот на лбу, на лице, на шее, обмахался, покрякал, отдуваясь, и громко рыгнул. И никто в доме не знал, то ли, действительно, плотно наевшись, пребывает сват Таутан в благодушном состоянии, то ли очень ловко притворяется. И старый Альмухан, уже один допивавший чай, и старуха, то выходящая по своим бесконечным делам, то входившая вновь, наперебой ухаживали, усердно потчуют молодого свата. Бекбаул отвалился к стенке, подмял под бок подушку, вытянул ноги и, ковыряя спичкой в зубах, слушал шуршина.

Как всегда, на сундуке, потрескивая фитилем, горела десятилинейная лампа. Вокруг кружила мошка, порхали бабочки. Душно в саманном домике. Еще хорошо, что в углу продолбили стенку, вывели отдушины. Они-то и спасают от неимоверной духоты.

Пришел Таутан к сватам ранним вечером и все это время почти без передышки ел и пил. Дважды ставили самовар, потом ел мясо, после чего выпил четыре чашки горячего бульона. Поразительно, сколько вмещалось в этом худощавом, даже щуплом человеке!

Теперь, чувствуя себя в приятном расположении духа, он пустился в длинные рассуждения о том, о сем — так, замечая следы, петляет старая лиса.

— Алеке, имя вашего сына гремит не только в районе и в области, но и эхом отдается по всей республике. А вы вот живете... э-э... прозябаете в этой конуре. Ну, для начала почистили бы свою лачугу, побелили бы изнутри и снаружи. Ойбай-ау, сами подумайте, нагрянет откуда-



нибудь начальство в аул, куда оно пойдет? Конечно, первым долгом, заглянет в дом прославленного орденосца. Не так ли? Так! И если почетные гости войдут в эту халупу, что они увидят? Вы, почтенные, об этом подумали?!

Старику было приятно, что гость так хорошо говорит о его сыне. Он слушал и молча улыбался. Ну, а замечания гостя о жилье его почти не тревожили.

— Э-е... — только сказал старик. — Разве сейчас известку найдешь?

— Оу, если за этим дело стало, чего молчите?! Слава богу, я пока в колхозе не последний человек. На складе центнеров пять известки должно быть. Кладовщик — свой парень. Попрошу — не откажет.

— Да отблагодарит тебя аллах, сват. Известка — что? И без нее прожить можно. — Сказав это, Алеке склонился над кесушкой, долго смотрел на жидкий чай. — Скажи-ка, милый, куда подевался нынче курчавохвостый индийский чай? Сколько можно полоскать кишки зелеными помоями?.. Вот на это что скажешь?

— Э, Алеке, индийский чай теперь дефицит. Понимаете?! Не то что вы — мы не пьем. И вкус, считай, забыли. Вот уже месяца три, как его ни за какие драгоценности не достанешь.

— В чем же дело, сынок?

— А пес его знает! С международным положением сейчас плоховато, аксакал. Газеты-то хоть читаете? Появился некий Черчилль, он собирает всех поганцев со всего свету и науськивает их на нас.

— Оу, а говорили, будто на власть нашу этот... ну, как его, ...Керман<sup>1</sup> зарится?

— Э, нет, аксакал, отстаеете от жизни. С господином Гитлером у нас теперь уговор. Он теперь, как говорят, наш заклятый друг. Беду жди от старого смутьяна Черчилля, сват.

— Аллах знает, кто из них самый главный смутьян. Совсем запутались. Народу покой нужен... Итак, дорогой, как же быть с чаем-то?

Алеке ничего не имел против международного положения, однако предпочитал мыслить конкретно.

---

<sup>1</sup> Искажен. Германия.

Таутан деловито откашлялся, чуть подался в сторону старика, назидательно поднял палец и веско произнес:

— В связи с обострением внешнеполитической обстановки... понимаете, аксакал?.. ваш любимый курчавохвостый чай совершенно исчез, испарился. Господин Черчилль вместо чая мечтает напоить вас ядом, отравой. Ясно? Ну, конечно, это ему...

— Э, какое Шершилю твоему дело до меня?!— обиделся старик.— Я ведь с бабой его не спал!

— Ну, ясное дело, аксакал, не спали. И тем не менее не желает он, чтобы вы целыми днями дули крепкий, густой чай со сливками.

— А почему? Этот Шершил чаем, что ли, заведует?.. Наш пучеглазый лавочник — тоже вредина. У! Заупрямится — сладу нет.

— Ну, ваш пучеглазый, аксакал,— просто щенок. А вот господин Черчилль вас яро ненавидит. И вы, конечно, спросите — почему?— Таутан полез рукой в карман, чтобы достать заветный пузырек, но тут же вспомнил, что уже дней десять не закладывает насыбай.— Я вам отвечу. Во-первых, вы член колхоза. Так? Уже тем самым вы Черчиллю враг...

— Ойбай, дорогой, что ты говоришь?! Никогда никому врагом я не был!

— Подождите, подождите. Во-вторых, вы отец ударника-орденоносца. Ну, это еще полбеда. А ведь вы гордитесь сыном, одобряете его поведение. Так? Следовательно, вы еще раз Черчиллю враг...

— А что, мой Бекбаул там, на канале, с Шершилем, что ли, поцапался?

— Ойпырмау, аксакал, ну чего вы все перебиваете? Отсюда, из того, что я сказал, вытекает вывод, можно сказать, политический вывод, что господин Черчилль никак не желает, чтобы вы втихомолку наслаждались курчавохвостым чаем. И самое печальное то, что я, один из руководителей колхоза, ничем не могу вам в этом вопросе помочь. Ну, а что касается известки, то, пожалуйста, в любое время протяну вам руку помощи...

Таутан с видом человека, до конца исполнившего свой долг, указательным пальцем погладил кончики усов, швырнул подушку к стенке и улегся на другой бок. Старик Альмухан отвернул край дастархана, благодарственно помянул всевышнего и встал.

— Старуха, подай-ка кумган. Пора совершить вечерний намаз.

Едва отец вышел, молчавший до сих пор Бекбаул приподнялся, всем телом повернулся к шуруну.

— Хочу с тобой посоветоваться, Таке. Завтра собираюсь на Ащы-кудык. Клевер сеять. Дело для меня новое, но раз баскарма приказал — ничего не поделаешь. Надо освоить, говорит, гектаров тридцать целины. Скажи: как трудодни начисляться будут? Как на бахче или по-другому?

Для Таутана это было неожиданностью. Ну, Сейтназар, погоди... Он, Таутан, член правления и главный бухгалтер, не знает, что творится в колхозе! Вот дожил, а?! О намерении вспахать нетронутый надел возле Ащы-кудыка он слышал. Но о том, кого собираются туда послать, председатель ни единым словом не обмолвился. Втихомолку, значит, орудует сынок дамуллы. Дай ему волю — колхоз в свою вотчину превратит. Что ж, учтем! Придет срок — Мангазин тебе за это сполна выдаст.

— Клевер сеять, говоришь? — Таутан насмешливо покосился на зятя. — Ну, и какая у тебя должность?

— Какая может быть должность? Звеньевой...

— Ты — звеньевой? Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, прославленный на всю республику мираб, деятель, можно сказать, и вдруг — звеньевой?! С утра до поздней ночи околачиваться в знойной степи, не есть, не пить, покрикивать на пять-шесть баб... полно, зятек... разве это твой удел?! Пойми, это же откровенное издевательство над тобой!

— Как это?

— Тыфу! Еще спрашивает! Да ты что, цены себе не знаешь?! — Таутан в раздражении отшвырнул подушку к стенке. — Ну, подумай, дурья башка: кто ты и кто Сейтназар? Да по сравнению с тобой Сейтназар это... это, чепуха, мелочь, козявка, о которой и говорить-то не стоит! Да что там Сейтназар — я, главбух, как никто знающий свое дело, и то рядом с тобой — ничто! Но ты мой зять и потому душа болит. Понял?.. Такого знатного человека, как ты, выпроводить в Ащы-кудык, на край света — это, дорогой, более, чем издевательство. Это вроде бы высылки. В старину, в царское время, правители таким образом избавлялись от неугодных соперников. Да, да... Верь, не верь, а Сейтназар, пользуясь твоим простодуши-

ем, хочет тебя держать подальше. Ты растущий кадр, сын бедного скотовода, а не дамуллы, как некоторые там... и ты можешь руководить колхозом, а тебе суют в руки старый, ржавый кетмень. Где ж тут справедливость, спрашиваю я тебя?!

Бекбаул смущенно улыбнулся.

— А что я буду делать... если не клевер сеять?

— Другой работы, что ли, нет?! Недавно Сейтназар снял бригадира отделения Кара-Унгир. Оказывается, колхозное добро себе присваивал. Пожалуйста, место свободно. Вполне подходит для сына Альмухана. И я, между нами говоря, не раз намекал на это председателю. Так почему он от тебя отмахивается? Ведь на строительстве ты доказал, на что способен. И работать, и людьми руководить. Читать-писать умеешь, в политике разбираешься. Ну, что еще надо? Где он еще лучшего бригадира найдет?!

— Э, да ладно! Не хочет — пусть подавится! Не был бригадиром — и не надо. С голоду не подохну!

— Так-то оно так. Но ты же джигит! И должен постоять за свою честь. Или... может, ты председателя боишься?

— Это еще почему?

— Не знаю. Может, причина есть? Слышал я, бабы шушукуются... будто с Нурией, что ли, снюхался... А, зятек? Может, оскорбленный муж пытается таким образом отомстить удачливому сопернику? Хе-хе-хе...

Бекбаул нахмурил брови, закусил губу, растерянно замолчал. Таутан, игриво прикрыв ладошкой рот, похихикивал... Он был доволен, что так ловко задел зятя за самое больное место.

## IX

Сейтназар, поскребывая подбородок, мрачно задумался. На розовой плечи между редкими, зачесанными назад волосами выступил мелкий пот. Видно, давно не брился председатель: щеки были обметаны рыжеватой щетиной. От бессонницы маленькие серые глазки слезились, веки воспалились, лицо осунулось.

Полчаса продолжается словесная перепалка с Бекбаулом. Недавний мираб наотрез отказался ехать на Ашы-кудык и сеять клевер. Причина? Никогда с клеве-

ром дела не имел и боится, что не сладит с обязанностью звеньевского. Если нет другой подходящей работы, будет по-прежнему ковыряться на бахче. Май только начался, еще не поздно сеять арбузы и дыни. Но председатель и слушать об этом не желал. Человек он был крутой, властный, привык к беспрекословному подчинению, и теперь выходил из себя оттого, что Бекбаул, рядовой колхозник, решительно не поддавался его уговорам. Правда, джигит отличился на стройке. Заработал орден, какой председателю и во сне не снился. Прославился, авторитет заимел. Все это, конечно, следует учитывать, орденосцу необходимо воздавать заслуженные почести. Однако нельзя же, чтобы он на голову сел. Вежливость, скромность и орденосца украшают. В колхозе скот есть? Есть, хотя и маловато. Корм ему нужен? Нужен. А в Ащы-кудыке пустует земля. Воды там нынче — залейся. Недаром ведь канал рыли. Клевер облагораживает, разрыхляет почву. Через год там можно разбить бахчу, выращивать отменные арбузы и дыни. Конечно, этот упрямец понимает все не хуже председателя. Ранее, бывало, возражать ему и в голову не приходило. Все делал, что приказывали. А теперь заартачился, как необъезженный конь. Вообще распустились люди. Привыкли возле дома копошиться, у очага, рядом с бабой и детьми. А тут — Ащы-кудык. Ночевать придется в лачуге, горячего вовремя не поешь, и чай тебе никто не сготовит. Вот и воротит каждый морду. Но ведь как не крути, кто-то должен ехать в Ащы-кудык! Сеять клевер надо во что бы то ни стало. Где зимой корм возьмешь? Опять попрошайничать? Как этого не понимают? Вот сидит сознательный колхозник, передовик, с орденом, а уперся, хоть кол на голове теши. Не поеду и баста!

А может, прицикнуть на него как следует? Рывкнуть, чтоб душа в пятки? Сказать: «Эй, открой-ка свои zenки, кто в этом ауле баскарма? Ты или я?! Так иди туда, куда приказывают. Не то...» Только этого теперь криком не возьмешь. Вон, как набылчился, ноздри раздул!

Последние дни председатель ликовал. Он радовался, что наконец-то Нурия понесла от него. Бездетность все больше удручала Сейтназара. Родичи все чаще нашептывали: «Брось эту бесплодную бабу. Возьми другую. Не то упустишь время, бобылем останешься...» А он не спешил, все надеялся. Да и думать об этом было некогда:

весь день в седле мотаешься. Голова от забот пухнет. Разве до житейских дел тут? И вот дождался, смилостивился аллах, зачала, наконец, его Нурия. Стоило Сейтназару только подумать об этом, как гнев, тревога, усталость мигом улетучивались...

Так случилось и на этот раз. Поднял голову, нацелился красными, воспаленными глазами на Бекбаула, хитровато усмехнулся.

— Значит, не поеду, говоришь? Далековато, говоришь, а?! Так кто эта баба, которая тебя к юбке пришила? Родители и без тебя обойдутся. Постель никто не греет...

Бекбаул поморщился.

— Ладно, аксакал. Не о бабе речь. Живу же, не пропадаю.

— Э, брат, не говори! Жить-то по-всякому можно. Но без бабы... Может, моя свояченица...

— Оставьте свою свояченицу при себе!

— Эй, да ты что? Уж не оскостили ли тебя?!

Председатель весело расхохотался. Бекбаул не подержал его, только еще больше потемнел лицом. И чего этот плешивый все время о бабах с ним говорит? Неужели догадывается об его шашнях с Нурией? Тогда, выходит, шурин Таутан прав? С какой стати понадобилось председателю гнать его в Ащы-кулык? Почему так настаивает? Ащы-кудык — голый такыр. Ни травинки, ни кустика. Пустыня, где и собака жить не станет. Ай, за этим, действительно, что-то неладное кроется...

Игривыми разговорами о том, о сем Сейтназар пытался все-таки уломать, уговорить молодого вдовца поехать в Ащы-кудык. Но все старания были напрасны. Председателю наконец надоело упрашивать, и он грозно нахмурился.

— Значит, сеять клевер не будешь?

— Не буду.

— Так. Тогда придется обсудить тебя на партийном собрании. Другого выхода нет.

— Дело ваше. Но я ведь не партийный...

— Каждый сознательный гражданин Советского Союза, товарищ Альмуханов, — сурово произнес председатель, — все равно, есть ли у него в кармане партбилет или нет, считается членом нашей партии. Следовательно, мы можем тебя...

— Ну, ладно, ладно! Сказал же: дело ваше.

— А если тебя за выступление против решений правления исключат из колхоза?

— Этим не испугаете, аксакал. Не мальчишка...

— Ай, Беке, хватит, пожалуй, а? Давай договоримся по-хорошему...— Сейтназар уже не знал, что делать. Ни ласка, ни угроза не действовали сегодня на обычно покладистого Бекбаула.— Ты ведь активист, гордость наша. Не так ли? Давай, оставим козлиное упрямство и все спокойно обсудим. Иди пока домой. Вечером, по пути из Саржала заеду к вам. Побалуешь чайком. У Алеке он такой густой и душистый. Ну, как, договорились?

Сейтназар поднялся, намекая, что разговор окончен. Бекбаул, однако, не шелохнулся. Бешеным быком устался на председателя. Потом встал, глухо пробурчал:

— Все равно в Ащы-кудык не поеду!

\* \* \*

Бекбаул проворочался всю ночь. То ли старая мать постель неудачно постелила, то ли блохи, любители кошмы и домотканых паласов, тревожили, но сон не шел. Раньше, бывало, едва коснувшись подушки, храпел на весь дом, а в последнее время спал плохо, тревожно.

Нудно тянутся бессонные ночи. Разные мысли роятся в голове, слух улавливает все звуки, все шорохи. Ровно посапывает, прижавшись к нему, маленький Жолдыбай. Тяжело, со свистом хрипит отец в передней. Перхают за стенкой овцы. Чтобы отвлечься от назойливых звуков, Бекбаул кладет себе на голову тяжелую пуховую подушку. Но и это не помогает. В маленькое боковое окошко, наполовину задернутое занавеской, льется молочно-белый лунный свет. Громадный карагач за окном чуть-чуть покачивается, шевелит ветками. Пестрые тени дрожат, трепещут на полу, на стенке.

Шумно вечерами в ауле. Мычат коровы, блеют овцы, лают собаки. Ночью их не слышно. Все спят. И сама природа погружается в сон. Такая воцаряется тишина, что в ушах звенит. Странно: тихо-тихо, а все равно мир полон звуков. И если не спишь, тебя окутывает одиночество. Вне времени, вне пространства. И не сон, и не явь.

И думы беспорядочные, путанные. Какие-то обрывки, клочки... Стараясь хотя бы на мгновение забыться, Бекбаул, не мигая, смотрит в окно. И тут он делает для себя

удивительное открытие: оказывается, ни на минуту, даже ни на полсекунды не в состоянии человек отключиться от мыслей. Можно собрать всю свою волю, крепко зажмуриться, приказать себе не думать... ничего из этого не получится. И выходит, что человеческий мозг, это непостижимое, нежное вещество, никогда — пока жив человек — толком не отдыхает, никогда не знает покоя.

Говорят: беспечный, безмятежный, равнодушный. Это все точные понятия. Но правильно ли сказать «бездумный». Вряд ли... Даже бессмысленность включает в себе смысл. Правда, говорят: «бездумный человек». Но это говорится образно, приблизительно, для сравнения одного с другим. Конечно, бывают люди умные, способные, одаренные и откровенно бездарные, бестолковые, глупые и просто ненормальные. Однако никто из них не может быть бездумным. У одного мысль яркая, как огромный, пылающий костер, у другого — еле тлеет, как чадающий жирник, а у большинства она, должно быть, похожа на ранние сумерки. Те, у кого мысль, как ранние сумерки, и блуждают много, и часто находят в жизни верный путь. Они вечно как бы стоят на распутье. Если прибегнуть к грубому разделению людей на «хороших», «средних» и «плохих», то эти, с мыслями как ранние сумерки, относятся, пожалуй, к «средним».

Скрестив руки на затылке, Бекбаул смотрит на потолок широко раскрытыми глазами. Отчего у него бессонница? Какие тягостные думы его терзают? Никто его не унизил, не опозорил. Сейтназар, что ли? Ну да, он хотел отправить его на Ащы-кудык сеять клевер. Это, может быть, и издевка, но не унижение, не позор. Еще недавно он без единого возражения отправился бы куда угодно, не то, что клевер сеять, а даже веники сажать. Что же случилось? А случилось то, что он теперь, как сказал шурин Таутан, почетный гражданин, орденоносец, «божний избранник», на голову которого опустилась жар-птица. Газеты до сих пор шумят о «выдающемся трудовом героизме» Альмуханова. Рябой корреспондент, недавно расспрашивавший про Зубайру, опубликовал о нем в областной газете очерк с пол-аршина. О нем пишут, его хвалят. Пусть прославятся потомки Альмухана. Пусть все знают, что и кетменщик — не последний человек, что и простой трудяга в силах постоять за честь бедного рода.



Однако, почему так мало говорят о настоящих кетменщиках, Рысдавлете, Ибрае и других, которые трудились, несомненно, больше него? Почему им не досталось ордена? Ему, Бекбаулу, конечно, орден дали вполне заслуженно. Он не только сам работал, но еще хорошо руководил людьми. И все же неудобно, что многие джигиты, кетменом перекидавшие столько земли, остались без внимания. Правда, канал еще не закончен, возможно, всех достойных наградят осенью.

О Сейтназаре же всегда говорили, что он честен, справедлив. Брехня, должно быть. Тоже небось как и другие, к себе гребет, не то не назначил бы бригадиром отделения Кара-Унгир своего родственника. И чихать он хотел на советы Таутана. А Таутан... оказывается, порядочный человек и верный друг. Смотри-ка, какую заботу проявляет! Ради зятя своего готов в огонь и в воду. Теперь же выясняется, что Сейтназар, хотя он и благосклонно относился к нему, Бекбаулу, однако, якобы, категорически был против его отъезда на строительство. По словам Таутана, плешивый хитрец будто бы говорил: «Э, оставьте его! Разве сын Альмухана на что-нибудь способен? Разве он в состоянии людьми руководить? Я его нынче же отправлю в Ащы-кудык. Он будет у меня клевер сеять. Больше ничего он не может». Ишь, куда метил! И даже потом пытался настоять на своем, сплавить его, будто прокаженного, на край земли. Не вышло, голубчик! Бекбаула нынче не облапошишь. Слава богу, есть теперь у него достоинство и авторитет. Не будет бегать на поводу каждого встречного-поперечного...

Однако, что же получается? Уж не слишком ли влияет на него любезный шурин? Когда-то он терпеть не мог разных там бухгалтеров, счетоводов. Считал их мелочными, придирчивыми, сварливыми. А теперь неожиданно будто пуповиной сросся с одним из этого племени. Конечно, чем-то он отличается от других. А самое главное — брат Зубайры. Айналайын Зубайра, единственная, желанная! Нет тебя уже на свете, а своих близких крепко связала невидимой нитью родства. Никто в свое время не хотел верить, что Зубайра — сестра кривоносого бухгалтера. Не было у них ничего сходного ни во внешности, ни в характере. Люди объясняли это тем, что у них были разные матери. Когда-то отец Таутана, Мангазы, после окончания четырехклассной русско-казахской школы в

Кзыл-Орде учительствовал в аулах. Жена его, старше лет на пять, рано завяла, превратилась в рыхлую, квеликую старуху, и тогда Мангазы женился во второй раз — привел в дом разбитную молодуху, сбежавшую от мужа, от его побоев и скрывавшуюся у отца. От первой жены, байбише, стало быть, родился Таутан; от второй, строптивой токал — Зубайра. Позже Мангазы заболел неизлечимой болезнью, долго пролежал в больницах Алматы, наконец, после ампутации обеих ног вернулся в аул, и тут молодуха выказала свой норов, спиной повернулась к калеке-мужу. Мангазы расвирипел; как собаку выгнал ее из дома. Молодуха еле унесла ноги, оставив маленькую Зубайру... Вырастила, выкормила ее байбише. Поговаривали, будто родная мать Зубайры еще жива и живет где-то возле Казалинска. Кто знает... Бекбаул никогда ее не видел. И Зубайра ее не вспоминала. Она привыкла, привязалась к байбише и считала ее родной матерью. Мангазы так и не оправился, мучился долго и лет шесть назад умер. А байбише все еще небо коптит. Живет у Таутана. К Бекбаулу в последнее время редко заходит. А если и придет, то ни с того, ни с сего затевает ругань со стариком Альмуханом. «Ага!— говорит,— загнали мою дочь в Кызылкум, угробили, а теперь радуетесь, а?!» Видно, болит материнское сердце, хоть и не родной ей была Зубайра.

Лежит Бекбаул, закинув руки за голову, не спит, думы разные думает. О Сейтназаре, о Таутане, о славе, о суете житейской... Но постепенно эти мысли отодвигаются, тускнеют и перед глазами всплывает его немеркнущая мечта — Зубайра. Сильнее стучит сердце, горячая кровь толчками растекается по жилам.

...Тихая безлунная ночь. Душно. Низко нависают тучи. От арыка тянет прохладой. Редко доносится свежее дуновение ветерка. А ночь черна — хоть глаз выколи. И все же вдали смутно виднеется, или чувствуется грань, отделяющая небо от земли. Небо чуть-чуть светлей. Тускло-серым отливает поверхность воды в арыке.

Они сидят, прижавшись друг к другу, у запруды возле дома. У Зубайры уже заметно увеличился живот. Недавняя выпускница медицинского училища предусмотрительна: в последнее время стелит себе отдельно. Бекбаулу это не особенно нравится. Страсть в нем еще не угасла. Ночью он подкрадывается к ее постели и прижимается к

слегка отяжелевшей жене. Она его успокаивает, нежными пальцами гладит жесткие, как конская грива, волосы. Не всегда помогает. Тогда она глубокой ночью ведет его к арыку. «Посиди, охлади свой пыл»,— говорит ласково. Действительно, ночная свежесть, сонное бормотание арыка и тишина вскоре успокаивают его. Без усталости стрекоды в степи цикады. Лягушки томно выводят свою бесконечную любовную песню. Они молча вслушиваются в таинственные шорохи южной ночи.

Иногда он берет щуплую, невысокую ростом Зубайру к себе на колени и качает ее, будто ребенка. Она тихо посмеивается, тычется в его крепкую грудь и, разморенная лаской, медленно засыпает. Он перестает ее баюкать, застывает, замирает весь, всем телом, всем существом своим ощущая тепло и нежность доверчиво прижавшегося к нему женского тела, вдыхая ее запахи, от которых сладко кружится голова...

А в ту ночь они сидели рядышком, касаясь плечами и чуть покачиваясь. Зубайра пристально смотрела на ту-склую поверхность воды и, затаив дыхание, как бы прислушивалась к своим думам. Потом вдруг, не поднимая головы, тихо спросила:

— Бек?

— Оу?— откликнулся он.

— Скажи: ты на самом деле любишь меня больше всего на свете?

— Да! Никого и ничего дороже тебя для меня не существует.

Долго они шептались, как бы боясь вспугнуть ночную тишину.

— Бек, а что, если ты меня потеряешь?

Он вздрогнул.

— Как это... потеряю?! С какой стати?.. Умру, а тебя не отдам!— Он опустил широкую, как лопата, руку на ее плечо.— А ну, кто посмеет нас разлучить, а? Покажи-ка мне его!

— А если разлучит нас... смерть?

— Какая еще смерть?!

— Мало ли какая... Разве от родов не умирают?

— Да ну, брось глупости говорить! Ты же медик. Чего боишься?— Он притянул ее к себе, губами прижался к нежному изгибу шеи.— Не печалься, лучинка ты моя! Никакая сила нас с тобой не разлучит...

А как они потом радовались, как ликовали, когда Зубайра благополучно разродилась сыном. Им чудилось, будто они прошли через самое страшное испытание судьбы. Разве могли они предполагать, какое тяжкое горе подстерегало их впереди. Они были счастливы, и жизнь сулила только радость. Но... все обманчиво на свете. Погибла Зубайра... И теперь рви себе волосы, раздирай себе грудь, реви быком, бейся головой о камень, проклинай судьбу — ничто не поможет, не вернется никогда, никогда, никогда твоя единственная возлюбленная Зубайра. Смерть пощады не знает.

Уже забрезжил рассвет в боковом окошке, а Бекбаул так и не уснул.

## Х

Они отошли в сторонку, присели на корточки в тени тальника. Время близилось к обеду. Солнце стояло высоко. Но в тени было прохладно. С вышины лилась песня жаворонка. У ног, меж трав, поблескивал арычок. Вода в нем была мутная, желтая.

Таутан все говорил и говорил, что-то доказывая зятю. Время от времени он доставал из кармана костяную табакерку-шакшу, брал из нее щепотку насыбаю, ловко закладывал за губу. Как ни старался он расстаться с душистым зельем, однако это было выше его сил. Он говорил и поплевывал на обе стороны. Поплевывал и снова говорил. На все лады хаял Сейтназара. Дескать, совсем обнаглел баскарма, зарвался, с людьми перестал считаться. Особенно в последнее время чванлив стал, грудь колесом вынычивает, всех одним прутом погоняет. В колхозе ни парторг, ни председатель аулсовета, считай, никакого веса уже не имеют, потрухивают послушно на поводу баскармы и рады. Правда, дела колхозные идут не так уж плохо. План, можно сказать, всегда перевыполняется. И на этом, собственно, и выезжает пройдоха Сейтназар. Но ведь, милые мои, моральный облик, сущность советского человека определяются не одними производственными показателями. Не так ли? Об этом очень хорошо пишут газеты и журналы. А разве товарищ Сейтназар отвечает всем требованиям, предъявляемым к настоящему советскому руководителю? А? Что на это скажешь, уважаемый зятек? И вообще Таутан имеет

веские основания считать председателя подозрительным элементом. Он осколок прошлого. Да, да, не сомневайся и не смейся. Кокпаром увлекается? О, еще как! Во время посевных компаний и страды позволяет колхозникам проводить разные тон-гулянки? Позволяет! Ойбай-ау, когда мулла сделал обрезание сынишке кетменщика Рысдавлета, этот горе-руководитель сказал хоть одно слово? Пресекал? Нет, не сказал и не пресекал! Да и что он скажет, если сам — прямой потомок презренного служителя ислама — дамуллы. Ну, ладно, зятек, человек ты простодушный и на подобные вещи внимания не обращаешь. В политграмоте тоже слаб. Не обижайся, конечно. Я люблю говорить прямо в глаза. Не то, что Сейтназар. Я всегда за честность, справедливость, за высокие... э-э... ну, как их... идеалы...

Ладно, хватит об этом. Ты только скажи: почему Сейтназар на тебя так взъелся? Почему колхознику-орденоносцу не дает достойной работы? Потому что завидует чужой славе, чужому счастью. И пользуется твоей покорностью и робостью. Вот что я тебе скажу прямо в глаза.

Да что там Бекбаул, этот плешивый зверем косится на всех, даже на меня. Придирается к каждому документу, душу вымотает, пока подпишет. Значит, не доверяет, подозревает... боится, наверное, что Таутан обсчитает колхоз, несчастную копейку, ненароком, в свой карман сунет. Боже упаси, никогда Таутан такими делами не занимался. Не нужна ему чужая копейка. На жизнь, слава аллаху, зарабатывает и ладно...

Бекбаул слушал и думал: складно поет шурин. Ему и возразить невозможно. Но почему-то его многословие не убеждает. И чего он кружится над Сейтназаром, словно стервятник над добычей? Какую цель преследует? Допустим, ради Бекбаула старается. Но зачем про то изо дня в день твердить: «Я тебя люблю. Я тебя уважаю». В конце концов станет тошно и от этой любви, и от этого ужения.

Бекбаул смотрел вдаль и поскребывал щеку. Таутан искоса наблюдал за ним, таинственно ухмылялся, поглаживал длинные усы.

— Не горюй, зятек! И везучего ударит рок. Сейтназар не вечно царствовать будет. Свернет себе шею. Увидишь!

Бекбаул сердито выставился на шурина.

— Оставил бы свою жалость при себе!

Таутан изобразил на лице недоумение.

— Ойбай, какая жалость?! Ты же не малец несмышленный, чтобы жалеть. Сердце за тебя болит, вот и говорю.

Бекбаул неожиданно зло посмотрел на шурина. Тот заерзал, вновь потянулся к табакерке, хлопая глазами, будто младенец невинный.

Бекбаулу вдруг захотелось ошеломить его какой-нибудь неслыханной новостью, и он сказал ему то, что до сих пор тщательно скрывал от всех (так ему, по крайней мере, всегда казалось).

— Эй, а известно ли тебе, что у меня с Нурией...

Таутан пососал насыбай под губой, ухмыльнулся.

— Ну и что? Подарок, что ли, просишь за добрую весть?

Сказал и презрительно сплюнул.

— А может быть — да!

— Э, за что?

— Как?! Если твой зять кобелем по бабам бегают, тебе разве приятно?

— Ба! А мне-то что?! Сестра умерла. Ей уж все равно. Ты здоров, как бугай. Силу девать некуда. Если нашел себе для забавы толстозадую — кто осудит?

Бекбаул опешил. Этого пса, видать, ничем не прошибешь. Ему и на честь сестры наплевать. Дурень, нашел, чем похвастаться! Теперь по всему аулу разрезвонит.

— Чепуха! — круто повернул Бекбаул. — Это я просто пошутил. Зачем мне чужая баба? Хотел тебя испытать... Да, видно, тебя такими штучками не возьмешь, а?

— Ладно, не вилай. Сами знаем.

— Что... знаете?

— Говорят, без ветра и трава не колыхнется. Бабы давно растрепали вашу тайну. Так что напрасно юлишь. — Плутоватая искорка вновь вспыхнула в глазах Таутана. — Но, повторяю, блуд свой чеши, сколько вздуется. Меня не это тревожит...

— А что?

— Ревность — вот что! Любой муж ревнует жену. Узнает Сейтназар про ваши шашни — начнет мстить. Ду-

маешь, он не догадывается, что на его кобыле толстой кто-то верхом ездит? Чует старый пес...

Таутан попал в точку. Такое подозрение давно уже пугало Бекбаула.

Странно все оборачивается. Сейтназар становится бельмом на глазу. После того, как Бекбаул решительно отказался сеять клевер в Ащы-кудыке, отношения их с председателем совсем испортились. Правда, при встрече баскарма неизменно интересуется: «Ну, как дела, упрямец?», но в голосе чувствуется холодок. Прошла половина лета, а Бекбаулу даже кетменем помахать не довелось. На скрипучей арбе, запряженной быками, возит он на станцию, на приемный пункт колхоза арбузы и дыни. Их там навалено горы. Весовщик не успевает принимать. Приходится иногда в ожидании очереди ночевать под открытым небом. Не одну бессонную ночь провел Бекбаул на приемном пункте, разглядывая мерцающие звезды на черном небе. В раздольной степи под беспредельным небом житейские заботы, волнения и повседневная суета кажутся ничтожно мелочными, далекими. Но коротка летняя ночь. Величественно занимается заря, всходит солнце. И опять продолжается все та же кутерьма. Вредина весовщик придирается к каждой дыне. По нему получается, что все они неизменно помятые, побитые, перезрелые, гнилые. И начинаешь уламывать наглеца, упрашивать, умолять, улещивать. И отцом родным назывешь, и братом, и дядей. Ничего не поможет. Тогда терпению приходит конец и от досады начинаешь нажимать на глотку. Но и у весовщика глотка луженая: не перекричишь, не переорешь. Однажды Бекбаул нацепил свой орден и грудью пошел на него. «Ты! Разинь-ка пошире гляделки! Над кем куражишься, знаешь?! Думаешь, с темным казахом дело имеешь?! Смотри!» А весовщик этот и глазом не моргнул. «Подумаешь: кочка на ровном месте! Побрякушку повесил, а сам быкам хвосты крутишь. Был бы важной шишкой, на иноходце бы гарцевал, как Сейтназар-баскарма!..» И пошел, и поехал...

Вот так, всюду преследует его тень Сейтназара. Как в старинной поговорке получается: «Куда ни пойдешь — везде могила Коркута».

Иногда Бекбаул спрашивал себя: а что бы было, не прославься он на строительстве канала? Жил бы, пожалуй, тихо-мирно и не терзал бы себя мыслями об ущем-

ленном достоинстве и самолюбии. Отсюда можно сделать вывод, что лучше и проще живется обыкновенным смертным. Они не ведают зависти, ревности, душевных мук. Смута человеческая начинается там, где рождаются зависть, взаимная неприязнь, недоброжелательство. Конечно, хорошая зависть, желание быть лучше, недовольство собой — сами по себе не страшны. Они подталкивают человека, держат его в напряжении, ведут к доброй цели. Но бывает и наоборот. Беспокойство загоняет тебя в тупик и вместо движения вперед начинается топтание на месте. Тогда мрачнеет душа, ожесточается сердце, и, снедаемый черной завистью, злобой, ты видишь вокруг одно плохое.

Именно в таком состоянии пребывал сейчас Бекбаул. Ему все время чудилось, будто кто-то вспугнул жар-птицу, севшую было на его голову.

Порой он говорил себе: да на кой дьявол сдался мне Сейтназар? Он такой же грешник, как все. И ничто от него не зависит. Просто везет — и все. Заупрямилась, отвернулась судьба. Но тут же передумывал. Вспоминались слова отца: «Сынок, не ссорься с баскармой. К добру вражда не приведет. Уповай на аллаха. Не обязательно лезть в начальство. И так с голоду не пропадешь». Опять Сейтназар! Шагу без него не ступишь! Сам же его, рядового кетменщика, выдвинул, прославил, а теперь относится к нему, как ко всем остальным. А разве Бекбаул — один из многих? Разве он стоит наравне с другими?

Оу, как жить дальше? Вот, например, недавно на стане состоялось открытое собрание по итогам десятидневки. Бекбаул попросил слово, но председатель отмахнулся: «Товарищи, прения прекращаются. Если будут предложения — подавайте в письменном виде мне». Вот те раз! Бекбаул вспыхнул. «Как так? Нам средь бела дня рты затыкать?! Прошу пять минут. Скажу о безобразиях на приемном пункте». «Нечего зря болтать! — отрезал председатель. — Райисполком в курсе. Все дело в том, что не хватает вагонов для погрузки дынь. Понятно?» «Понятно-то понятно, — не унимался Бекбаул. — Но имею я право сказать свое мнение перед коллективом?» «Э, дорогой, оставь! — Председатель поморщился. — Не время языком чесать да байки слушать!» Бекбаулу при-



шлось сесть, так и не выступив. Но это еще что?! На том же собрании за хорошую работу многим колхозникам выдали чай, сахар, материал, а Бекбаула опять обошли. Еле дождавшись конца собрания, Бекбаул подошел к баскарме. «Оу, уважаемый! Что же это получается? Где моя доля?» Сейтназар ответил походя: «Не обижайся. На этот раз мы премировали тех, кто работает на ответственном участке. А в следующий раз — учтем». Выходит, возить на станцию арбузы и дыни — не ответственная работа. Что ж, пожалуй, верно. Какая тут ответственность? Любому старикашке по плечу. Вон, к примеру, Карл Карлович возит молоко из Кылкума аж в раймаслопром. Значит, для здорового, плечи в сажень, джигита такая работа — просто насмешка. Позор! И придумал это опять-таки Сейтназар.

На другом собрании председатель завел такую речь: «В нашем колхозе появились отдельные товарищи, которые отказываются выполнять поручения и увиливают от работы. По-видимому, они надеются на заступничество родственничков, из тех, кто с папками под мышкой ходят. Однако должен напомнить: порядок и дисциплина существуют для всех. Есть у тебя благодетель-заступник или нет — ты обязан работать наравне со всеми!» Намек был прозрачен: благодетель-заступник с папкой под мышкой, конечно же, — Таутан, а нарушитель порядка — Бекбаул.

Не знал Сейтназар, что эта речь ему дорого обойдется. Он сам подкинул полено в разгоревшийся костер ненависти. Таутан решил действовать.

— Бекбаул, так жить дальше нельзя. Чем больше ты в кусты, тем сильнее он тебя по башке...

— А что делать? — беспомощно спросил Бекбаул.

Мангазин подсел поближе, воровато оглянувшись по сторонам, посопел, понизил голос.

— Есть один-единственный выход... — Таутан достал из нагрудного кармана кителя бумагу, сложенную вчетверо, и протянул Бекбаулу. — Вот тут записаны все неблагоприятные делишки баскармы за последние четыре года. Мне ведь все известно. Недаром столько времени торчу в конторе. Здесь, как в священном писании. Прочти, поставь свою подпись и верни мне. Остальное — моя забота. Пошлю бумажку куда надо. И тогда полюбуемся

на нашего самодура. Плюнь мне в рожу, если он не полетит вверх тормашками!

Бекбаул расправил лист бумаги, но читать не стал.

— Оу, что это получается? Может, проступков-то у Сейтназара и нет? Нам же люди в глаза плюнут!

— Сказано: не сомневайся. Знаю, что делаю! Прочти, если не веришь. И распишись!

— Ты раскрыл преступление, ты и подпиши!

— Тыфу, бестолочь!— Таутан от досады хлопнул себя по коленям.— Да пойми ты: как я подпишу, сидя с ним в конторе рядом?! А, ойбай?! Кто мне поверит? Скажут там, наверху: не ладили, мол, начальники. Не поделили что-то. И прикроют дело. Не дадут бумаге ход. А то еще вызовут и отчехвостят. Ты что, дескать, до сих пор молчал, главный бухгалтер? Председателя-жулика покрывал? Значит, сам ты кто? Понимаешь? А с тебя никакого спросу. Ты рядовой колхозник. К тому же знаменит на всю область. Отмахнуться от тебя нельзя. Не имеют права! Вот и...

— Но... наверняка проверка будет, комиссия прискачет?

— Разумеется. Но тебе-то что? Не тебя же проверять будут, а Сейтназара-паскуду...

Бекбаул, шевеля губами, принялся читать. Ровные, как нанизанный жемчуг, аккуратные буквы запрыгали, замельтешили перед глазами. Он ничего не мог понять. Дойные коровы, нечестно распределенные между колхозниками... Разбазаривание колхозного имущества... Злоупотребление властью... Вначале он решил было прочитать бумагу потом, на досуге, но тут же раздумал. Все равно лучше этого проныры-бухгалтера не разберется он в тонкостях подспудной жизни состоятельного колхоза, да и разве поймешь, где, когда и как кто что ворует. А, была — не была. Кто хочет — поймет. Кому надо — разберется. Сейтназар ему не брат, не сват. Пусть отбредется как хочет. Или как сумеет.

Он выхватил из рук Таутана карандаш, помусолил его отточенный кончик и, разгладив бумагу на колене, размашисто расписался в нижнем углу.

Престарелый Альмухан неделю промаялся в постели, не мучаясь сам и не беспокоя других, но, видно, иссякли дни, отпущенные всевышним на его долю, и в удачливый день среды, на рассвете, он мирно расстался с жизнью. Помянуть известного в округе старого дехканна собралось много народу. Похоронили покойника как подобает, со всеми обрядами и почестями. Он тихо жил и тихо умер. Он знал, что умрет, и спокойно ждал рокового часа. За день до кончины подозвал к себе маленького внука, прижал к себе легонько, слабым голосом произнес:

— Единственное мое желание: пусть Жолдыбай никогда не почувствует сиротства.

Старуха и сын при этих словах промолчали. Только еще ниже опустили головы. «Э, бедный,— хотела бы сказать старуха,— что о Жолдыбае-то беспокоишься, о себе лучше подумай», но тут же решила, что, должно быть, чуется старик свой близкий конец и на всякий случай послала за аульным муллой. Старика обмыли, уложили в постель, и свидетелем его последних мук стал мулла — крохотный старикашка с маленькой дрожащей бородкой и короткими, хилыми ножками. Как истинный правоверный, с аллахом на устах покинул почтенный Альмухан «грешный» мир.

Перед домом поставили юрту. И началась обычная в подобных случаях суматоха. Резали скот, устанавливали громадные котлы. Когда умирает старый, вдоволь поживший человек, плакать в голос и убиваться считается неприличным. Эдак можно только аллаха прогневать. Поэтому бабы у очагов оживленно судачили и даже посмеивались. Только пожилые мужчины сурово хмурили брови. Иные из дальних родичей по обычаю еще издалека поднимали вой: «О, родно-о-ой!», «Агатай, на кого ты нас покину-у-ул?!» У входа в юрту встали в ряд самые близкие покойного — человек пять — во главе с Бекбаулом. Соболезнующие поочередно обнимались с каждым из них, разделяя горе, говорили утешительные слова. Каждый раз, когда вновь прибывшие переступали порог юрты, коротышка-мулла, сидевший на коленях на почетном месте, напрягал голос, плотно закрывал глаза и гнусаво заводил какую-нибудь суру из корана. Он бор-

мотал тусклым, монотонным голосом что-то длинное, бесконечное, невольно навевая тоску и сон. Мало кто понимал, что так отрешенно бормотал мулла, но все слушали, понуро свесив головы. Слушали, ощущая, должно быть, таинственный страх перед смертью, которая в свой час неумолимо настигнет каждого, и испытывая непонятную дрожь от глухого, убаюкивающего голоса служителя аллаха.

Похороны всегда связаны с большими хлопотами. Столько людей надо принять, накормить, напоить! Отличился Сейтназар: выписал за счет колхоза два мешка муки, чай, сахар, распорядился на двух арбах доставить топку. Ну, а Таутану сам бог велел, как-никак родня ведь. Тоже в грязь лицом не ударил: привел на поводу жирненького бычка, поставил у коновязи. И другие родственники, как и положено, помогали каждый, чем мог. Никто не приходил с пустыми руками. У казахов иногда трудно отличить поминки от радостного торжества. Там, где собирается много народу, родственники, не скупясь, делятся всем, что имеют. И поздравляя с какой-либо радостью, и соболезуя горю, — все равно принимают участие во всех расходах. Такая помощь умножает радость и облегчает горе. Это древний обычай, добрая традиция — делить и счастье, и беду.

Пришли и давние приятели Рысдаulet, Байбол и другие джигиты. Молча принялись за работу: колоть дрова, резать скот, прислуживать старикам. Каждый старался утешить Бекбаула. Байбол-Балабол шуткой пытался развеять печаль приятеля.

— Отец твой был великий дехканин. Землю чувствовал и понимал, как сам создатель. Да только больно тихий был. Клок сена у овцы не заберет — такой кроткий. Боюсь, на том свете затюкают его покойнички и в рай не пустят. И будет Алеке вечно у райских ворот околачиваться...

Говорить такое о человеке, прожившем почти девяносто лет, «дьяволом помеченный» Байбол-Балабол не считает кощунством. Конечно, если подобные шутки дойдут до стариков, то несдобровать озорнику. Поэтому шутники и озираются по сторонам.

Кончились поминки, разошелся народ, и в неожиданно опустевшем доме остались только трое. Лишь теперь Бекбаул заметил, как за эти дни осунулась и постарела

мать. Последние два-три месяца отец недомогал и, прислушиваясь к его кряхтению, мать тоже вздыхала и горевала, а Бекбаул, и не подозревавший об опасности, только посмеивался. Теперь выяснилось, что престарелый, дряхлый отец был едва ли не опорой дома. Бекбаул это понял, глядя на странно притихшую, сжавшуюся в комок старуху-мать. Видно, давно уж слились души стариков, и теперь мать чувствовала себя одинокой, никому не нужной, будто погас какой-то таинственный огонек в груди. За стеной гулял-посвистывал холодный ветер и словно нашептывал ей на ухо: «Спутника твоего, с которым ты шла бок о бок сорок лет, уже не стало. Осиротела ты, старая. Теперь твой черед... твой черед...» Мать была оглушена горем, вся ушла в себя. Ни к чему у нее душа не лежала. Ничего уже не хотели делать руки. Даже к казану не прикасалась. Жолдыбай, несмышлениш-виучек, чувствовал, что случилось в доме что-то страшное, непоправимое и жалостливо жался к бабушке. Она укрывала его подолом длинного чапана, похлопывала по спине и старческим надтреснутым голосом выводила колыбельную, которая, однако, больше смахивала на гнусавую молитву коротышки-муллы.

Бекбаула тоже поразила смерть старого отца. Он плакал, горестно хмурил брови. Отец есть отец. В жилах сына течет его кровь. И все же, глядя на убитую горем мать, он испытывал внутреннюю неловкость, нечто подобное угрызению совести. Всего каких-нибудь семь дней прошло, а он не горюет вовсе, и снова с головой окунулся в житейскую суету. Что это? Душевная глухота? Черствость? Забвение сыновнего долга? Нет, не может быть! Человек рождается и умирает. Старики утверждают, что бессмертен только дьявол. Отец же жил как простой, смертный человек. Не завидовал чужой удаче, не жаловался на свою долю. В анкете, заполненной при вступлении в колхоз, его записали как «неимущего бедняка». Перед самой революцией он обзавелся было кое-каким скотом, но вспыхнула ссора между родами Кипчак и Конрат, и барымтачи очистили его двор дотла. Работал он с самого детства, был трудолюбив, силен, но семья никогда не знала достатка. Много поездил, походил отец в молодости. Тогда в здешних краях выращивали не только арбузы и дыни, но и сеяли вдоль побережья Сырдарьи просо, пшеницу, ячмень и собирали отменный уро-

жай, а зерно возили далеко, за тридевять земель. В колхоз он пошел одним из первых. Передовиком, пожалуй, не был, но считался стариком сметливым и рассудительным. К советам его прислушивались. Собраний не пропускал, но выступал редко, больше слушал. Видно, просто не желал плестись в хвосте большого кочевья.

Обыкновенная жизнь обыкновенного человека. Раз уж живешь на земле, все познаешь сполна: радость и печаль, счастье и горе. Но в долгой жизни отца, как кажется Бекбаулу, больше всего было покоя и безмятежности. Конечно, это вовсе не означает, что спокойна была жизнь, безмятежно — время и мирны, робки — люди. Отнюдь нет. Но ведь бывают же люди, которые и в самое бурное время не теряют головы и продолжают жить неприметной, размеренной жизнью. Именно к такой категории людей наверняка и относился покойный Альмухан. По следам отца шел и Бекбаул, и точно так же складывалась его судьба, пока он не выдвинулся из своей среды, не познал пьянящий дух славы. С той поры и лишился он покоя. Даже в дни похорон не покидали его житейские дразги. Опять думалось: с чего это Сейтназар так старается, со своей помощью лезет, будто и не случилось ничего? Неужели он не догадывается о той «черной бумаге», которую собственноручно подписал Бекбаул? Чего добивается Таутан? И что надо ему, Бекбаулу? Какая им польза, если даже снимут Сейтназара? Самое правильное, пожалуй, жить честно и тихо, как отец. Только такие люди, наверное, и живут долго. Правда, тогда после тебя не останется ни славы, ни громкого имени, зато и вреда, и зла никому не сделаешь. Ну, а зачем она нужна, слава-то?.. Можно же жить, скажем, просто, никому не мешая, не переступая дороги, не ссорясь, не споря, не возражая. Доволен или недоволен — все остается глубоко захороненным в душе и ни до чего нет дела. Ешь и спишь, сколько душа желает. Одет, обут. В тепле, в уюте. Здоровье прекрасное, совесть чиста. Жил, жил — состарился. И не заметил — когда и как пришла за тобой вразвалочку усталая и скучная старуха-смерть.

И только? И это все? И это — жизнь?

Пришла-приволочилась пестро-рыжая осень. Пожелтела куга; поблек, поник камыш; потянулись в воздухе серебристые нити; плыл, кружась, белый пух. Степь лишилась весенней свежести, выцвела, высохла, потемнела проплешинами, похожими на пыльные такыры. Если смотреть с вершины холма, перед глазами открывается печальная картина постаревшей, уставшей родами земли. Тальник и тополя еще не обезлистились, однако, приуныди, посерели. Пожухла трава. Грустно бормотали арыки. Они ссохлись, помельчали. По небу, то сбиваясь, то рассеиваясь, плыли тучи. Но пора осенних дождей еще не настала.

Многие колхозы уже покончили со страдой, и колхозники, разогнув спины, отдыхали. С честью управились ныне и джигиты аула Байсун. Все овощи и фрукты собрали вовремя, не позволили гнить на станах и складах, в сохранности сдали государству. Доходы были немалые. На трудодни никто не обижался. И лишь годами пустовавшие земли Ащы-кудыка так и не успели засеять клевером, но баскарма приструнил кого надо и наметил меры на будущий год.

Сейтназар был в хорошем настроении. Жена после долгих ожиданий и волнений родила ему крепенького, чернявого сынишку. Осторожно покачивая его на коленях, он с удивлением разглядывал сына, хмыкал: «Эй, жена, на кого этот чертенок похож?!» Нурия презрительно шлепала губами. «Еще спрашивает! Он как две капли воды похож на моего дядю-караванщика, погибшего в пустыне. В родню, значит, наш парень удался...» Сейтназар вроде бы никогда не слышал о дяде жены, в безлюдной пустыне нашедшего свою смерть. Ну, что ж... был так был, погиб так погиб. Ничего страшного, если сын похож на родню жены. Дай ему бог только здоровья и долгих лет жизни. Не зря, видать, жена по курортам ездила. Вон как раздобрела и похорошела! В честь сына Сейтназар провел шумный той. Даже в район съездил за разрешением. Хотел было председатель провести пир, соблюдая все добрые дедовские обычаи — с кокпаром, байгой, борьбой силачей-балуанов, но парторг стал отговаривать: «Выкинь вздор из головы! Погулял три дня — хватит. А кокпар, байга в наши дни

расцениваются, как политическая близорукость, как возрождение вредных пережитков прошлого. Понял?» Парторг и председатель были ровесниками и приятелями. Между ними очень редко возникали недоразумения. Но на этот раз Сейтназар не хотел соглашаться с доводами парторга. «Ай, оставь! Не пугай. Какое отношение к политике имеет кокпар и байга?! Лишь бы никто не убился. Район разрешил, жена моя не каждый день сыновей рождает, так что не мешай, дорогой, не скупись...» Парторг сомнения свои скрывать не стал. «Да пойми: я лично разве против? По мне хоть десять дней тягай кокпар. А потом — что? Ведь с меня, с парторга, спрос. Думаешь, такие «бдительные», как Мангазин, не станут пакостить? Думаешь, промолчат? Ого!...»

Сейтназар задумался. Сколько лет работают они бок о бок в одном колхозе, но еще не бывало, чтобы сын Мангазы говорил: «хорошо» или «добро». Он видел только плохое, только недостатки. А этих недостатков, недочетов — хоть отбавляй. Их нужно видеть, раскрывать, с ними нужно бороться. Но разоблачать зло и злорадоваться — разные вещи. А Мангазина недостатки эти почему-то не огорчают, а радуют. Сейтназар считал, что беда бухгалтера в его сварливом, неуживчивом характере. После долгих раздумий председатель, скрепя сердце, отказался и от кокпара, и от байги. И без того, кажется, достаточно шумно отметили рождение смуглого бутуза.

Недавно Сейтназар повздорил с главбухом. Пришли колхозники с жалобой. Налоги, дескать, платим исправно, на заем подписываемся, а облигации до последней копейки прикарманивает себе Таутан. Председатель обещал все выяснить и, едва проводив колхозников, вызвал бухгалтера.

— Почему не раздаешь вовремя заем?! — начал он, выкатив слезящиеся глаза. — Отвечай! Почему и такими мелочами должен заниматься я?! Или, по-твоему, других дел в колхозе нет?

Таутан, по-видимому, не ожидал такого натиска. Заикаться начал:

— Ка... ка... какой еще заем?

— Финагент ведь, оказывается, заем тебе передает... Ему, что, самому лень раздавать?

— Кому... лень? А, финагенту? Наверно, некогда, раз поручил раздавать мне...



— Пусть он поручает хоть последней собаке. Мне один черт. Но чего ты... тянешь? Где заем? Почему у себя хранишь? Или солить хочешь, коптить и втихомолку съесть, а?!

Когда председатель насканивал с таким пылом, Таутан невольно съеживался, опускал глаза, бормотал что-то невнятное, точно провинившийся школьник.

— Что делать?.. Запурхался с делами... не успел...

— Какие дела? Камни, что ли, ворочаешь?! Или устаешь на счетах щелкать?! Я вот весь день на ногах, а вроде терплю, не жалуюсь. Привыкли скулить, зады в тепле греть, бездельники! Лоботрясы!!

— Вы ошибаетесь,— возразил вдруг бухгалтер. Он сидел, как в воду опущенный, не зная, как выкрутиться, но теперь встрепенулся, будто сбросил с плеч непомерную тяжесть.— Учет — основа социалистической экономики, так сказать. Без учета социализма не построишь. А вы позволяете себе выражаться небрежно, неуважи...

— Эй, я это знаю не хуже тебя! Не выкручивайся! Себе оставь тары-бары! Чтoб завтра роздал людям весь заем. Понял? И чтоб об этом не было больше разговоров!

— Ладно... хорошо...— еле выдавил из себя Таутан.

Сейтназар старался не бросать слов на ветер. И хотя на работе бывал беспокоен, нетерпелив, вспыльчив, отличался все же нравом добрым, покладистым, мягким. Да и отходчив был, зла в себе не держал. Правда, иногда терялся, будто боялся чего-то... Особенно бледнел, настораживался, когда кто-нибудь — то ли в шутку, то ли всерьез — называл его сыном дамуллы. Но чьим бы сыном он ни был, Сейтназар дело свое знал и любил. Ради колхоза не жалел ни здоровья, ни сил. В грамоте был не особенно силен, и в сложных поворотах текущей политики не очень твердо разбирался. Но помыслы были чистые. Когда надо, он вскакивал вместе со всеми, кричал: «Да здравствует!», «Слава!». Сам, однако, громко говорить не любил и болтунов презирал. Едва терпел некоторых назойливых, бестолковых, но самоуверенных уполномоченных из района. Бывало, вступал с ними в конфликты. В Таутане его раздражали мнимая активность и «бдительность», которые он называл куцехвостыми, но за сметливость в бухгалтерском деле уважал.

Он не догадывался, что после злополучной истории с

облигациями нажил в Таутане злейшего врага. На другой день главбух встретился с жалобщиками, долго говорил о взаимном доверии, чуткости, дружбе, напомнил, что казахам не к лицу быть мелочными и, оказав кое-какие почести, заткнул им рты. Однако недовольных в ауле оказалось много. И заставить всех молчать было невозможно. Таутан решил: действовать нужно незамедлительно. Если удастся убрать Сейтназара, все остальное само по себе сразу уладится. И кипы припрятанных облигаций останутся в кармане.

## ХИ

С утра Таутан объездил верхом на лошади все дома и оповестил аулчан: вечером в колхозном клубе состоится важное собрание. По-разному судили-рядили в ауле. По слухам, Бекбаул подал жалобу на председателя в область, и с некоторых пор Сейтназар находится едва ли не под следствием. Одни сочувствовали Бекбаулу: обиделся, мол, малый, раз не воздают ему по заслугам; другие утверждали, что дело это явно нечистое и вряд ли сам Бекбаул до такого додумался, скорее всего, науськал его пройдоха-бухгалтер, недаром увивался вокруг него в последнее время. Однако с чего разгорелся сыр-бор толком никто не знал. Думали: обойдется. Теперь, узнав, что всех собирают на общее собрание, аулчане встревожились.

Еще до наступления сумерек маленький колхозный клуб был переполнен. Собрались все, кого держали ноги, даже глубокие старики и малые дети. В четырех углах зала, стены которого были заляпаны плакатами и лозунгами, горели висячие лампы. Скамейки стояли тесными рядами, но все равно всем не хватило места. Сидели на глиняном полу, впритык к крошечной сцене, жались к стенкам, толпились в проходе. Красный бархатный занавес был раздвинут. На сцене стоял длинный стол, покрытый сероватым, в чернильных пятнах, сукном. Стулья для президиума пока пустовали.

Зал гудел. Иногда прорывался приглушенный смех молодежи. Взрослые хмурились, задумчиво молчали, сурово косились на расшалившихся юнцов. На всех, однако, не прищекнешь. В зале разговаривали, смеялись, заигрывали, иные джигиты украдкой тискали игривых молодых.

Начальство на этот раз не заставило себя долго ждать. Из боковой двери вышли, держа под мышками толстенные папки, несколько человек и уселись за стол президиума. Среди них находился и заместитель председателя райисполкома — долговязый, поджарый, очень смуглый, в хромовых сапогах, в кителе, галифе и фуражке. Поговаривали, что он на Сейтназара издавна точил зуб, а на заседаниях бюро, бывало, они не однажды цапались. Присутствие на колхозном собрании районного начальства означало, что дела баскармы и в самом деле неважны. Опасения эти усугубились, когда собравшиеся не увидели вдруг в президиуме самого Сейтназара. Парторг колхоза, почему-то в поношенном костюме, небритый, откинул волосы, растерянно оглянулся и, косясь на поджарого заместителя председателя райисполкома, хриплым голосом сказал:

— Товарищи, сегодня на повестке дня один вопрос. Это о некоторых небла... неблаго... — Парторг, не глядя в зал, погладил скатерть, запнулся. Представитель райисполкома досадливо покашлял. Воцарилась тревожная тишина. — Неблаговидных поступках председателя колхоза товарища Сейтназара. Следует вынести решение общего колхозного собрания. Слово имеет районный прокурор.

Поднялся грузный, почти квадратный, узкоглазый мужчина и, тяжело ступая, направился к трибуне. С достоинством посмотрел поверх зала куда-то вдаль. Толстые стекла очков холодно блеснули. Покрякал, помешкал. Под председателем собрания скрипнул стул.

— Оу, сколько еще ждать-то будем?.. Начните же ради бога! — сказал он нетерпеливо.

Прокурор медленно разложил свои бумажки и заговорил очень странным для его комплекции тонким голосом. Начал он речь издали, говорил утомительно, долго. Перечислил всех предков Сейтназара, дал им обстоятельную характеристику. Вскользь отметил и заслуги обвиняемого, но больше нажимал на недостатки, недочеты, проступки председателя колхоза, которые в конечном счете привели к неслыханным, вопиющим нарушениям. Но прежде прокурор счел нужным остановиться на грандиозных задачах, стоящих перед обществом, и на том, как нарушение социалистической законности мешает осуществлению этих задач...

Сейтназар сидел в углу, вобрав голову в плечи. Нежданная беда подкосила его. Он осунулся, поблек... В последнее время его часто вызывали в район. Держался председатель независимо, даже вызываясь, опирался на свой авторитет, но очкастый прокурор постепенно, понемногу доконал его. Он располагал такими фактами, что Сейтназару невозможно было оправдаться. Года три назад, когда Нурия задумала ехать на курорт, Сейтназар занял у бригадира овощной бригады четыреста рублей. Не отправишь же родную жену на курорт с пустым карманом! А потом, надо же было так случиться, совершенно упустил свой долг из виду, а бригадир, как назло, ни словом о том не заикнулся. Однажды этот бригадир потребовал подписать квитанцию на три телеги дынь. Сейтназар удивился: «Почему я должен подписать? Это же подлог!» «Как почему?— усмехнулся бригадир.— Или забыли? Надо же как-то восполнить ту сумму». Председатель смутился и... подписал квитанцию. В жизни не занимался махинациями, а тут черт попутал. Помнится, говаривал отец: «Уж кого-кого, а воров в нашем роду не было. Будь честен, сынок, никогда не зарься на чужое». Эх, как был прав покойный дамулла! Теперь эти четыреста рублей вышли боком. И кто разоблачил его? Сын Альмухана, тихоня Бекбаул!

Сейтназар незаметно оглянулся. Не видно что-то Бекбаула. Жалобу-то, дурень, наката, а прийти на судилище не осмелился. Впрочем и без него, пожалуй, обойдутся. Вон, как прокурор распинается, душу выматывает, выкручивает! Говорит так, будто злейшего врага социализма разоблачает. Что ж... на то он прокурор. Кому же еще, как не ему, разоблачать разных там жуликов и стяжателей, хапуг и рвачей?!

Больше всего жаль парторга. Ни за что, ни про что попал, погорел. Сколько лет работают бок о бок, в полном согласии, и вдруг такая заваруха. Парторг искренне старался помочь другу и не раз ездил в район, но напрасно: дело передали в прокуратуру. Первый секретарь райкома, убедившись, что действительно в колхозе не все обстоит благополучно, созвал в срочном порядке бюро. Сейтназару досталось крепко. Не признайся он честно во всех своих грехах, пришлось бы тогда выложить партийный билет. Заместитель председателя райисполкома настаивал передать дело Сейтназара в суд.

Бюро решило обсудить его на общем колхозном собрании. «Я не могу нарушить колхозный устав,— заявил твердо первый секретарь.— Пусть судьбу своего председателя решат сами колхозники». Против этого никто возражать не посмел.

Наконец прокурор закончил длинную обвинительную речь. Парторг беспокойно оглядел зал.

— Ну, кто выступит? Есть желающие?

Никто не шелохнулся. Наступила тишина. Потом в зале начали ерзать, чихать, откашливаться. Тяжело поскрипывали скамейки.

Председатель собрания растерянно озираясь.

— Оу, так и будем в молчанку играть? Скажите хоть что-нибудь!

Председатель райисполкома быстро написал что-то на бумажке, подвинул парторгу. Тот прочел, согласно кивнул головой.

— Тут есть, оказывается, список записавшихся. Может, им дадим...

В углу зала неожиданно вскочил низкорослый Байбол, резко вскинул руку.

— Что, Байбол, говорить будешь?

— Нет, аксакал, вопрос один есть...

— Что за вопрос?

— Вот уже добрый час вы тут в хвост и в гриву чехвостите председателя. Неужели все это и в самом деле так? А если это поклеп какого-нибудь дерьма? Мне лично непонятно...

— Ты у меня спрашиваешь?

— Да, именно! Кто еще лучше вас обязан знать баламутов в ауле?!

— Оу, дорогой, об этом ведь только что сказал товарищ прокурор! Что я могу еще добавить?..

Представитель райисполкома дернул плечом.

— Слушайте... как вас там... товарищ?— Он показал рукой в сторону Байбола.— Вы ведь не на базаре находитесь! Здесь, к вашему сведению, колхозное собрание. Хотите выступить — пожалуйста, на трибуну поднимитесь.

Байбол только рукой махнул и сел. Сейтназар почувствовал поддержку, встрепенулся, искоса повел взглядом. Интересно, кто еще выступит? Надо же, Байбол-Балабол, кого и всерьез-то никто не принимает, и

тот, оказывается, верит в честность председателя. Это приятно, но жаль, что на самом деле председатель не совсем безгрешен, как некоторые думают... Но, вон выскочил на трибуну и застрекотал, как из пулемета, один из давних недоброжелателей. Ну, ясно, прошел предварительную обработку. Так беднягу настропалили, что готов стереть Сейтназара с лица земли. Всю жизнь отсиживался, подлец, в сторонке, искал, где полегче да пожирнее, а тут вдруг из себя правдолюбца корчит. А было ли от него пользы колхозу хоть на копеечку? Ай, вряд ли! И чего распинается?! Все равно вместо Сейтназара председателем не поставят. Помнится, в прошлом году он поймал его на улице: на ишаке вез ворованные колхозные саженцы на городской базар. Он привел тогда ворюгу в контору и сказал ему несколько ласковых слов. Теперь настал его черед читать председателю нравоучения. Всякая мразь начинает счеты сводить.

Ого, еще один рукой машет, слово просит. Ба! Да это же... Карл Карлович! Неужели и его успели обработать? Что ж... ничего не поделаешь... Сиди и слушай...

Карл Карлович, сильно хромя, прошел по рядам через весь зал, остановился возле трибуны. Представитель райисполкома с удивлением уставился на длинноногого, синеглазого старика. Его он видел впервые. В списке, предложенным Мангазиным, фамилия его не значилась. Кто он? Что он скажет?..

Карл Карлович снял круглую шапчонку, отороченную мерлушкой,— с ней он не расставался и зимой и летом,— и деловито положил ее на трибуну. Редкие, пепельные волосы упали на лоб. Прежде чем заговорить, он вытянул шею, повел вверх-вниз крупным кадыком.

— Э, дети мои, я такой же большевик, как и вы,— начал он на чистом казахском языке. Представитель райисполкома невольно хмыкнул. Видать, в этом ауле одни политиканы собрались, подумал он.— Хорошо ли, плохо ли, все мы служим советской власти. И при этом стараемся, чтобы было лучше. Совесть у нас чиста. То же самое, я думаю, может сказать и товарищ Сейтназар. Давно он руководит нашим колхозом... О, аллах, даже вот этот клуб, в котором мы сегодня судим (при этих словах парторг поморщился, недовольно уставился на оратора)... да-да, судим хорошего человека, был построен только благодаря Сейтназару. Сколько ему хло-

пот и усилий это стоило?! Помню, Таутан и ему подобные даже слушать о строительстве клуба не желали. Дёскать, карман колхоза недостаточно тугой и лучше сперва набить утробу колхозников. Тогда взялись за дело комсомольцы и...

Такой речи представитель райисполкома не ожидал.

— Извините, товарищ,— остановил он оратора. Даже обеими руками замахал.— С историей жизни председателя колхоза Байсун мы хорошо знакомы. Сейчас разговор не об этом... ну, поймите же, ойпырмау!

Карл Карлович недаром прожил большую жизнь: не испугался грозного начальства. Помолчал, повел кадыком, сдержанно спросил:

— Почему затыкаете людям рты, а?!— и вдруг сорвался на крик.

— Прошу не перебивать!— Последнее он уже сказал по-русски.

По залу прокатился гул. Байбол и его приятели громко захлопали. Председательствующий постучал по столу, призывая к порядку. У оратора окреп голос.

— Что же получается, товарищи? Человека заслуженного, много сделавшего для народа мы сегодня обвиняем во всех грехах и, не стеснясь, обливаем грязью. Вижу, кое-кто хотел бы его в Сибирь упечь. Наши сунаки обычно говорят: «И конь спотыкается, и человек ошибается». Так вот, споткнулся уважаемый человек, с кем не бывает... Что ж теперь, съесть его, что ли, с потрохами?! Нет, товарищи, не по-людски это. Я предлагаю вот что. Среди нас нет таких, кто бы у холодного очага голый зад грел. Давайте соберем с каждого по двадцать рублей и сполна вернем государству долг председателя. И таким образом сразу все решится, товарищи!

Байбол и его дружки бешенно задубасили в ладоши. Зал всколыхнулся. Представитель райисполкома криво усмехнулся и покачал головой. Парторг явно встревожился. Молоденький секретарь забыл про протокол, застыл с открытым ртом. Карл Карлович повернулся к нему.

— Точно запиши все мои слова! А то потом неразбериха будет. Смотри!..

После выступления Карла Карловича Сейтназар немного пришел в себя. Хорошо, когда утопающему протя-

гивают руку. Конечно, от всех бед это не спасет, но дорога поддержка. Особенно, неожиданная. И в зале вроде бы потеплело. А то люди чувствовали себя неудобно, скованно, словно на льду в зимнюю стужу. Шутка ли: времена строгие, и дисциплина суровая. Ходили слухи, что в городах строго наказывали даже за десятиминутные опоздания на работу. И если в такое время выясняется, что председатель, у которого к тому же сомнительное социальное происхождение, присваивает себе колхозное добро, и сам районный прокурор считает его злостным преступником, то уж лучше держать язык за зубами. Не все же такие отчаянные, как Карл Карлович. Не все дрались с белоказаками и получали от красных командиров сабли с серебряным эфесом за храбрость. Разумней помалкивать, вобрав голову в плечи.

А тут словно прорвалось. Колхозники поднимались один за другим. Конечно, полностью оправдать председателя теперь, после всех обвинений, никто не решался. Однако и окончательно утопить его не дали. К концу собрания попросил слово представитель райисполкома и, конечно же, не пожалел красок для очернения своего давнего недруга, однако и он понял, что задуманного намерения осуществить не удалось. Решение общего колхозного собрания, заранее составленное и написанное Мангазиным и его сообщниками, пришлось, к удовольствию собравшихся, переписать.

Сейтназара, правда, сняли, отобрали печать, но он был доволен, что отделался хотя бы так.

### ХІІІ

Тихая осенняя ночь. На темно-сером небе холодно поблескивают далекие звезды. Все вокруг погрузилось в глубокий сон.

Таутан спешит куда-то под покровом ночи. Дорога, белея, змеится у его ног. Он шлепает по пухляку, воровато озирается по сторонам, с трудом сдерживает дыхание. Зловеще темнеют по обе стороны дороги густые заросли джингила и джиды. В южных краях и проселочную дорогу часто пререзают арыки и неглубокие балки. К осени они высыхают и только на самом дне остается скользкая грязь. Торопливому путнику ничего не стоит темной ночью оступиться или поскользнуться. Таутан это



испытал не однажды. Бывало, в безлунные ночи крепко доставалось от него проклятым «вредителям», хотя и убравшим урожай, однако, не успевшим вовремя разровнять кочки и засыпать все ямы.

Вскоре он свернул с дороги и пошел по песчанику с чахлым, пожелтевшим кураком. Дойдя до чащобы колючего тростника, он остановился, подождал немного, приподнял стекло фонаря, раздобытого у знакомого железнодорожника, поднес к фитилю спичку. Еще постоял, прислушался и шмыгнул в черные заросли.

Вдруг Таутан испуганно оглянулся. Он явно слышал, как сзади хрустнул тростник. Или почудилось... Ничего не видать в глухих душных зарослях. Хоть глаз выколи. Можно было б потушить фонарь, опуститься на колени, прислушаться. Но Таутан не стал этого делать. Верно говорят: «У труса от страха в глазах двоится». Должно быть, какого-нибудь зверька вспугнул. В этих камышах особенно много зайцев и шакалов. А шакалы, говорят, хоть с виду и невзрачны, как шелудивые дворняжки, но когда голодны, с ними шутки плохи. Бывает, и на человека нападают. Таутан похолодел. А вдруг вынырнут из кустов шакалы, окружит его целая свора — что он сделает, безоружный, беспомощный? Сожрут его темной ночью хищники, и косточек не оставят. О, алла... Чего только в страхе не померещится! Но все хищники боятся огня. А у него в руке — фонарь. Бог даст, не пропадет. Опасен не хищник, а человек.

Таутан постоял, затаив дыхание, потом пригнулся и решительно направился в глубь непроходимых зарослей. Вскоре он нашел заветный куст с ободранной корой, поставил фонарь под низкорослым чингилом. Здесь камыш и кустарник росли так густо, что в двух шагах невозможно было увидеть свет фонаря. Таутан успокоился и принялся за дело. Он откинул большой дерновыи пласт, вытащил объемистый узелок, обернутый в старую кошму и туго перетянутый бечевкой. Развернул, развязал, пальцами пощупал кипу плотно сложенных бумажек, отобрал пачку, не торопясь пересчитал при свете фонаря и сунул за пазуху. Ну и черт с ним, что не избрали его председателем! С голоду не подохнет. Вот этот заем прокормит и его, и детишек. Не на один год хватит. Будет по частям сплавлять в банк...

Подозрительные намеки старого немца насторожили

Таутана, и он, не долго раздумывая, перетащил свой клад из зимовья в овраге Жидели сюда, в непроходимые заросли. Попробуй найди тут. Ни одна собака не догадается. А для тех, кто будет просить свои облигации, ответ готов. Он их пошлет к Сейтназару, на него сейчас все валить можно. «Ничего не знаю,— скажет Таутан,— все облигации захапал баскарма. Куда он их подевал — шайтан знает. Такой хапуга — кто бы мог подумать!» Еще бы год, и весь колхоз до последней нитки обобрали. Вот так он и скажет. А там поверят, не поверят — их дело, его это не касается. Когда сняли Сейтназара, он был совершенно уверен, что только его, Таутана, назначат председателем колхоза, потому что нет более достойного в этом ауле человека. Пригласил домой того, из райисполкома, угощал, обхаживал, наизнанку весь вывернулся. Конечно, он ни словом не обмолвился о своем заветном желании. Да и как можно? С таким высоким начальством Таутану еще не приходилось иметь дело. Но ведь высокое начальство могло бы и само догадаться о том, что на душе скромного бухгалтера. Если уж на то пошло, именно благодаря Таутану удалось убрать неугодного, строптивого баскарму. Выходит, зря старался?.. Ну, да ладно, сейчас не повезло, в другой раз повезет. Надо только терпеливо ждать и брать на заметку все, что творится вокруг. Все, все.

Он положил сверток на место, так же тщательно укрыл дерновым пластом, посветил себе, оглянулся, не осталось ли следов. Нет, сам дьявол искать будет — не найдет. Да что там! Умеет он работать тонко, четко, обстоятельно. Не придерешься... Он усмехнулся в темноте, погладил отросшие усы. Потом потушил фонарь и тем же следом заспешил назад. Еще за аулом он услышал мощный, тягучий голос: кто-то пел, пронзая ночную тишь. Таутан даже застыл от неожиданности. Почему, с какой стати поют ночью в ауле? Потом вспомнил: Байбол-Балабол выдает сестру замуж. Бухгалтера еще утром пригласили на той, а он в суете совсем запаматовал. Видно, в самом разгаре веселье, ишь, как распелись, дьяволы...

В последние дни Мангазин чувствовал в себе необыкновенную силу: ведь если ты запросто свалил самого Сейтназара, а тот, считай, дуб с глубокими корнями — то, видит аллах, не так уж он, Таутан, и слаб. Всерьез

возьмется, и горы свернуть может. Да, это здорово, когда ты сильный! Но только что сила? Надо быть хитрым, ловким, изворотливым, чтобы загребать жар чужими руками, чтобы вовремя задушить, придавить врага, а врагом для Таутана был каждый, кто имел власть и стоял выше его. Бог даст, он себя еще покажет, не такие дела наворачоает. Недалек, не за горами день, когда сын Мангазы наденет шапку набекрень и начнет цедить сквозь зубы распоряжения. Ох, и насладится же он властью! Нет, о районных, областных чинах он не мечтает. Там сидят умники, поднаторевшие в политике. Они Таутана и близко к себе не подпустят. Дали бы ему в руки хотя бы повод аула, ух, зажал бы он шенкеля, да так, чтоб по струнке все ходили... Эх, жизни! Бегали бы все вокруг него, в рот заглядывали: «Таутеке, что вы скажете?», «Таутеке, что прикажете?», «Таутеке, как вы считаете?». Господи, что еще надо человеку... Ничего, терпи, жди, и будешь вознагражден.

Подстегивая самолюбие, жадно думая о будущих счастливых днях, стоял Таутан на краю аула и прислушивался к веселым песням, доносившимся из дома Байбола. Странно, он не находил в них ничего предосудительного, ничего крамольного, как это ему обычно легко удавалось, наоборот, они ласкали его слух. Апырмай, до чего же красиво поет! Кто же он, этот зычноголосый? Уж кого-кого, а певцов и домбристов в их ауле хватает. В молодости Таутекен тоже на домбре тренькал и песни, бывало, мурлыкал. В школьной самодеятельности декламировал стишки. Правда, в суть трескучих стишков он не вникал, но читал громко, надрываясь, и ему было приятно сознавать, что он вот читает, а его все слушают, да еще и в ладоши хлопают. Э, что там говорить, нынешний Таутан, день-деньской просиживающий в конторе за счетами, когда-то тоже был молод и горяч и увлеченно бегал за каждой юбкой. Это он теперь не питает слабости к огненной водице, а между двадцатью и двадцатью пятью лакал, не разбираясь, все подряд. Тогда водка и вино были роскошью. Попробуй найди. Вот он поочачивался возле самогонщиков на станции. Нет, грешно жаловаться, пожил Таутан в молодости неплохо. Есть, что вспомнить. И за девками, слава богу, походил-побегал, не одной длиннополой в любви вечной клялся. Правда, победами да любовными утехами хвастать

особо не приходится. Однажды он пощупал было одну русскую молодуху на станции, но она, дура, закатила ему оплеуху. С русскими бабами не знаешь, как себя вести. Чуть что — руки в ход. Казашки, те только языками, как змеи, жалят. А, впрочем, если по правде, не везет ему на баб. Ведь и сейчас клоочет в нем мужская сила, а толку-то... Вон Бекбаул с толстухой Сейтпазара снюхался и хоть бы что. А Таутану приходится довольствоваться женой, плоской и бесчувственной, как доска. Ох, и в любви справедливости нет... А молодежь развеселилась, на всю степь горланит. Теперь до утра не угомонятся. Эх, жизни! Так и проживем свой век в бесполой, бессмысленной суете, не испытав твоих радостей, не вкусив сполна твоих соблазнов...

Темной ночью стоял одиноко Таутан на краю аула, слушал, вытянув шею, песни аульной молодежи и грустно вздыхал. Он уже решил было пойти в тот дом, где пировали, поздравить сестру Байбола, утешить душу за дастарханом, но вспомнил про толстую пачку за пазухой, тревожно оглянулся и нехотя поплелся домой.

\* \* \*

Проснулся он в испуге. Было еще рано, за окном едва брезжил рассвет. Из передней доносилась крикливая ругань. Жены рядом не оказалось. Похоже, поднялась чуть свет и теперь с кем-то отчаянно бранилась. И чего этим длиннополым не хватает? Его баба тоже не из тихих, палец в рот ей не клади, значит, надолго базар затеяли, о сие и думать нечего. Таутан натянул толстое атласное одеяло на голову, с досадой отвернулся к стене. Да хоть глаза друг другу повыцарапайте, подумал он, а мне выпастись надобно. Посопел, побряхтел, губами пожевал, стараясь не вспугнуть приятную дрему.

Со страшной силой распахнулась дверь спальни, будто кто-то норовил сорвать ее с петель, и тогда Таутан, красный от возмущения, с яростью отшвырнул одеяло, вскочил, белея в сумраке исподним. Он не сразу сообразил, что здесь происходит, и, протирая заспанные глаза, заорал:

— Эй, сволочи, какого черта тут хай подняли! Почему спать не даете?!

Жена стояла у порога. Голос ее дрожал.

— Разве я виновата?... Говорю, говорю этой бесстыднице, а она... Дело, говорит, срочное есть...

— У кого дело, пусть в контору приходит, а не ко мне в спальню!

— Ах, вон как! С постелью не желаешь расставаться, неженка, а?!— Рослая женщина в длинном, широком платье, в черном, шелковом платке на плечах оттолкнула растерявшуюся жену Таутана и решительно подошла к постели.

Когда Сейтназар был еще в силе, Нурия частенько бывала в доме главного бухгалтера. В последнее же время Таутан велел жене прекратить отношения с опальным домом бывшего баскармы, а чуткая, гордая Нурия, должно быть, догадываясь об этом, посчитала ниже своего достоинства приходить к ним. Сейчас Таутан вдруг понял, что неспроста пожаловала с утра пораньше строптивая жена бывшего председателя. На всякий случай забрался в постель, неуверенно промямлил:

— А, это ты... Что тебя чуть свет пригнало?

— Прости, конечно, что такому молодцу сон нарушила...— Нурия усмехнулась, сложила полные руки на высокой груди. По голосу чувствовалось, что сдерживала себя с трудом.— Твоя дуреха такой лай подняла... через порог не пускает. А уж мне, поверь, никак шуметь не хотелось.

— Она права. Я, почтенная, терпеть не могу, когда меня будят.

— Смотри-кось, какой важный, а?! С каких пор такая спесь?!

Таутан сел, скрестив ноги, прикрылся по плечи атласным одеялом. Сон мигом прошел. С бабой ругаться — удовольствия мало. А эта явно напрашивается на скандал. Вон, в какую позу встала: ни дать, ни взять — батыр! Все окно загородила, хочет, чтобы он на нее любовался, что ли?! Нужна она ему! Таутан ненавидел не только Сейтназара, но и его высокомерную жену. Правда, раньше он всеми силами скрывал свою неприязнь к ней, а теперь нечего таиться. Что она, думает испугать сына Мангазы?! Не на того напала! Он и грозного мужика запросто втоптал в грязь. С Мангазином шутки плохи!

— Эй! Ты тут горло не дери, поняла?!— Таутан от возмущения даже заерзал.— На кого голос повышаешь?

Говори, что надо, и мотай отсюда! Некогда мне с бабой трепаться!

— Ну, и скажу!— Нурия, дрожа от ярости, надвинулась на Таутана. Она размахивала руками прямо перед его носом. Лицо ее пылало.— Ты, кривоносый! Ты, паскуда! Это ты кляузы на моего мужа строчил! Ты его травил!.. А ну, покажь, чего достиг, чего добился, пес паршивый!

Таутан растерялся, откинулся на подушку.

— Эй, ты рукам волю не давай! Совесть-то имей, почтенная! Ты на меня не греши. Я твоего мужа не трогал. И нечего на меня валить. Не поможет!..

— Так кто же, если не ты?!

— Кто, кто... Да этот дурень Бекбаул... вот кто. Твой возлюбленный, хахалы! Он кляузы написал! Он подписал! Иди, на него жалуйся, если такая храбрая. А мне голову не морочь! Детей моих не пугай, и не шуми в моем доме, почтенная!..

— Так и знала, что выкручиваться будешь, подлец!

— Ты... это... не оскорбляй ответственного работника! Осторожней выражайся, поняла?! Меня в районе знают. Смотри, почтенная, отвечать придется! Мне нет дела до твоего мужа! Нет, понимаешь? Мне не кобылу с ним делить... игривую, как некоторым...

Таутан презрительно сплюнул. Кажется, в точку попал, в самое больное место. Сразу заткнулась бешеная баба. Так ей и надо, пусть не забывается, потаскуха.

Нурия задохнулась, застыла с открытым ртом, слезы полились градом. Господи, какой мерзавец! Невинным прикидывается. Знает, куда бить. И Бекбаул, дурень безмозглый, пошел на поводу такого негодяя! Да его за это поколотить мало. Как он мог?! Приплелся вчера, нос повесил, рассказал все, как было, каялся, убивался. И она поверила ему, даже пожалела. Кому ж ей еще верить? Он ее единственный, желанный. Отец ее сынишки, смуглого, плотного карапуза. Одно время почти не встречались. Теперь опять наведываться стал. Тот нетерпеливый, жадный огонь в ее теле погас, и все же при виде сильного, плечистого увальня на душе становилось тепло, приятно. Недолго длилась бабья обида. Думала сначала, что он со зла унизил, выбил из седла ее тихоню-мужа, ее опору. Потом узнала, что поддался глупый подлым уговорам, и сердце ее смягчилось, простило люби-

мого. С еще большей силой вспыхнула в ней ненависть к Таутану, и жаждала она мести, хотела унижить его, растоптать, смешать с грязью, насладиться его позором, а вышло все по-другому. Теперь она стоит тут, раздавленная, жалкая, и не в силах унять злые, беспомощные слезы...

Закрыв лицо ладонями, Нурия выскочила на улицу. Нашла под навесом укромное местечко, опустилась на чурбан и навзрыд разрыдалась. Долго не могла она успокоиться. Неужели навсегда отвернулось от нее счастье? Неужели ее «робкий ягненок» не оседлает больше статного, гривастого иноходца? Неужели ему теперь до конца жизни волочиться на захудалой лошаденке-кляче? Господи, откуда напасть такая? И скотом не обзавелись, и домов кирпичных в городах не построили. Бедный ее муж двенадцать месяцев в году не давал себе покоя, всю силушку колхозу отдал, и себя не щадил, и о жене не думал, и о будущем ребенка не позаботился. И вот дожили, остались едва ли не голые-босые. То, что нажили, ненадолго им хватит. А потом? Как жить-то будут?.. Но нищета еще полбеды. А как пережить позор, унижение? Как вынести злорадство, насмешки, пересуды, дурную молву? Те, кто еще недавно издали кланялись чуть ли не до земли, теперь проходят мимо, небрежно шевеля губами, а то и вовсе не замечают. А бабы языками цок-цок, губами шлеп-шлеп, на каждом углу, на каждом перекрестке в нее тычат. Иные, правда, приветливы и внимательны, как прежде, будто и не случилось ничего, но Нурия и им уже не верит, ей чудится всюду неискренность или откровенная, унижительная жалость. Плохо человеку, когда он вдруг выбивается из привычной колеи. Он становится мнительным, подозрительным, недоверчивым. Трудно согласиться уязвленному самолюбию с тем, что несмотря на крушение очага, привычного благополучия, жизнь вокруг по-прежнему остается прекрасной.

Подавленная неожиданно обрушившимся горем Нурия сидела под навесом, прислонившись спиной к прелому сену, и не замечала, что солнце поднялось уже высоко и начало ласково пригревать. Часто выпадают в середине осени в этом краю такие погожие дни. И тогда запрятавшиеся под кустами жаворонки, расправляя крылья, взмывают радостно ввысь и заливаются торжественной трелью, словно ранним летним утром. Привыч-

ный шум оглашает аул: блеют овцы, мычат коровы, малышня выгоняет скотину на выпас и при этом, подражая взрослым, покрикивает: «Чек, эй!», «Кос-кос!», «У, оморок тебя возьми!»

Нурия успокоилась и оглянулась. Злая усмешка искажала ее бледное, усталое лицо. Она порывисто встала и направилась к дому Таутана. «Это, он, он, негодяй, все затеял! Он, кривоносый!» — нашептывал мстительный голос...

В доме Таутана завтракали. Едва взглянув на нее, Таутан побледнел, защищаясь, вскинул руки, отпрянул от дастархана, прижался спиной к стене. Глаза Нурии налились кровью. Ничего не видя, перешагнула она через дастархан, насмерть перепугав жену и детей, всей тяжестью навалилась на Таутана, вцепилась в ворот и поволокла к порогу, словно баранью тушку. На крик и шум мгновенно сбежались соседи, и прямо на их глазах, вконец остервенев, женщина нещадно колотила, пинала, дубасила беспомощного перед ее яростью мужчину, мстя за обиды мужа и свой позор. Таутан барахтался под нею, визжал, кричал о помощи, а люди толпились вокруг в замешательстве. Наконец, мужчины схватили осатаневшую бабу, еле оторвали от истерзанного, растрепанного главбуха.

Слух о побоище в тот же день облетел аул. Таутан несколько дней не выходил из дома и к себе никого не пускал.

#### XIV

С того дня удача покинула Таутана. Началась полоса невезения. Пригласил его в кабинет парторг и завел странный разговор с непонятными намеками. Лицо главбуха оставалось, однако, непроницаемым, и тогда парторг, вышедший из терпения, достал из стола огромный сверток в старой кошке и с силой швырнул перед опешившим Таутаном — аж пыль поднялась. Глаза парторга сузились, ноздри затрепетали.

— Что это?!

У Таутана отнялся язык. Лоб покрылся испариной, глаза погасли, подернулись клейкой пленкой.

— Что же молчишь, товарищ Мангазин? — Парторг продолжал смотреть в упор. Таутан кое-как собрался с мыслями, выдавил жалкую улыбку.



— Убей меня бог, если что-нибудь понимаю... Что за сверток? Что за шутки?

— Что за сверток?! Он еще спрашивает!— у парторга от возмущения округлились глаза.— Ты что, собственное имущество не признаешь?

— Какое еще имущество?!— Таутан уже пришел в себя и сообразил, что нужно от всего отказываться, иначе будет худо.— Да аллахом клянусь, первый раз это вижу. И не понимаю...

— Оу, кому ж тогда верить?!— Мягкий, добродушный по природе парторг был озадачен.— Человек, который мне это принес... уверял, что выследил тебя... что твое это...

Таутан почуял неуверенность в голосе парторга и мигом прикинулся совершенно неведающим, о чем идет речь. Глазами заморгал, захлопал, невинную улыбку изобразил.

— Ради бога, скажите, что это? Что... в этом свертке?

— Заем! Груда облигаций!

Таутан изобразил бурную радость, даже вскочил, обеими руками вцепился в сверток.

— Ойбай! Так это же мой заем! Заем колхозников!

Парторг с удивлением смотрел то на гладкое, лоснившееся лицо Таутана, то на длинные, цепкие его пальцы, ловко развязывавшие узел.

— Как твой заем? Ты ведь только что отказывался! Ты что крутишь, товарищ Мангазин?

Парторг начинал злиться, а Таутан, поняв, что ему теперь ничего не стоит вывернуться, спокойно развязал узел, вытащил кипы облигаций, разложил на столе.

— Большое-пребольшое вам спасибо! Вы даже не представляете, какая это для меня радости!— взволнованно заговорил главный бухгалтер.— Месяца полтора назад я собрался раздать заем колхозникам, но по горло погряз в делах, запурхался, а потом как спохватился — заем-то тую-тую... Выкрали! Стащили! Весь дом всполошил, волосы на себе рвал. Что теперь людям скажу?! Как им в глаза посмотрю?! Как-то колхозники баскарме пожаловались, дескать, главбух заем не дает. Я тогда чуть сквозь землю не провалился... Не беда, если бы свое, а то ведь добро народное. За него головой отвечать надо... Но сжалилась судьба надо мной. Нашлась, слава

богу, потеря. Господи, кто тот благодетель, что спас меня от вечного позора?!

Парторг недоверчиво выставился на Таутана, поморщился, достал из кармана кисет, начал ладить «козью ножку». Глубоко затянувшись и выпустив ядовито-лиловое облако дыма, он чуть успокоился, тяжелые складки на лбу разгладились. После злополучной истории с Сейтназаром парторгу многое стало ясно, и он с подозрительной настороженностью относился к главбуху. Втайне он обрадовался, когда узнал, как лихо расправилась Нурия с обидчиком ее мужа. Теперь он понимал, что и за этим случаем с облигациями, несомненно, кроется подлость. Но ведь: не пойман — не вор, за руки его никто не схватил. Карл Карлович — человек честный и надежный. Это он принес сюда сверток и рассказал все, как есть. Можно, конечно, взять его в свидетели, передать дело в суд, и тогда, возможно, раскроется еще немало темных делишек. Но... Вот это «но» и смущало больше всего парторга. Председателя колхоза только что ославили на весь район, сняли с работы. Теперь вдруг выяснится, что и главбух колхоза Байсун — мошенник и вор. Скандал! Позор всему аулу! Истинно: одна паршивая овца все стадо портит... И хорошо ли это будет — кричать на всю округу о том, что в отаре завелась паршивая овца? Тут еще подумать надо. Возможно, не так уж страшна эта паршивая овца. Сам по себе Таутан — мелочь. Но такие, как он, незаметно отравляют жизнь другим, душат надежду и порыв, сеют зло. От них не так-то просто отделаться. Они верткие, скользкие, цепкие. Их можно победить лишь в долгой, затяжной, изнурительной борьбе. Вот о чем думал сейчас парторг, искоса поглядывая на откровенно лгавшего главбуха. А тот, почувствовав, что опасность миновала, самодовольно ухмылялся.

— Апырмай, вот повезло-то, а?! А я уже думал: все, конец, не видать уж мне пропажи, как своих ушей. Такая сумма! Целое состояние! И вдруг, на тебе, лежит перед носом. Скажите, кто нашел это? Кто он, этот добрый ангел, спасший мою честь?! Я всю жизнь молиться на него буду.

Парторг таинственно усмехнулся, еще больше помрачнел.

— Ладно. Довольно. Собери все это и сегодня же раздай, кому положено. Все!

Парторг отвернулся, будто не в силах был больше терпеть его присутствия.

— Понял... Конечно... Сейчас же... Спасибо,— бормотал главбух.

Со свертком под мышкой выбежал он из конторы и тут же забыл про опасность, прогремевшую над ним, с удовольствием прошелся по женской и мужской линии всех мерзавцев, отравивших ему тихую и сытую жизнь. Знает, знает он того благодетеля, днем и ночью преследовавшего его по пятам! Пронюхал-таки старый хрыч, чтоб вторая нога его отсохла! Конечно, это он его засек. Кто ж еще?! Недаром каждый раз при встрече кривил губы и глазами буравил. Давно, видать, принюхивался. Но как он узнал, как только догадался, об его тайне? Ведь ни одна живая душа о том не знала. Или он сам проболтался? Конечно, сам виноват. Поехал к этому рыжему рохле в районной кассе, как человеку доверился, душу открыл... Отсюда все и началось. Не зря говорят: «у молвы пятьдесят ушей». Брякнул один раз невзначай, и вот пошло-поехало... Бить тебя, Таутан, некому! Не рыпался бы, спрятал бы подальше свое богатство, никакой черт не был бы страшен. А теперь делать нечего, надо скорее избавиться от этой беды. Слава богу, хоть так обошлось.

В тот день до самого вечера ходил Таутан по домам и раздавал колхозникам заем. Солидную часть он в разное время успел сдать в банк и получить деньги. И теперь почти в каждом доме спрашивали: «А где оставшее?» Приходилось опять изворачиваться. Одним он обещал вернуть потом, других корил за мелочность, третьих просто обругал. Уже в сумерках он отвязался от всех облигаций и, злой, опустошенный, притащился домой. Но и здесь его ждала неприятность.

Весной, возвращаясь со станции, выпросил он у одного знакомого щенка овчарки. Привез его домой в торбе. Думал: вырастет, и зимой по первому снежку отправится на косуль и зайцев. Все лето как на убой кормили собаку. Вскоре она окрепла, покрылась жесткой шерстью, стала грозно рычать. Пришлось посадить на цепь, а на цепи собака становится, как известно, еще злее. Когда Таутан, шатаясь от усталости, добрал до плетня, овчарка, непонятно, каким образом, сорвалась с цепи и набросилась на него. То ли не узнала в темноте хозяина, то

ли ошалела, почуяв неожиданную свободу, только злобно рывкнула и рванула за штанину. Таутан в ярости пнул ее изо всех сил и угодил прямо в морду. Собака взвизгнула, заскулила на весь аул и, поджав хвост, бросилась к сараю. Таутан ворвался в дом, обрушился на детей.

— Кто из вас, сукины дети, отвязал собаку, а?!

Шмыгнув носом, выступила вперед чумакая девчушка. Она, однако, проявила полное безразличие к отцовской ругани и, расставив ноги, почесала замызганное айраном голое пузо...

\* \* \*

Со вчерашнего дня занепогодило. Лохматые тучи низко поплыли над землей, с севера подул пробиравший насквозь ветер. Еще не успевшая пожелтеть трава миглом пожухла, сникла. Утренняя роса сменилась инеем, кусты казались от него курчавыми. Стайками носились озабоченные скворцы — предчувствовали дыхание зимы.

Наконец, будто обрушилось небо, полил холодный осенний дождь. Солончаки набухли, превратились в болота. Приуныли в лачугах, юртах, стоявших между корявым саксаулом. Дырявая, трухлявая кошма — плохая защита от осенних ливней. В некоторых юртах строители канала не находили сухого места. В жер-ошаках — земляных печках — мгновенно погас огонь, и кетменщики остались без горячего обеда. Повара, поняв, что дождь кончится теперь нескоро, затащили самовары в юрты и пытались разжечь их отсыревшим хворостом. Но им пришлось изрядно помучиться: дрова шипели, чадили, едкий саксаульный дым клубился в юрте, ел глаза, не давал дышать.

Бекбаул сидел в углу, прислонившись к громадному деревянному сундуку и низко опустив на глаза старую, засаленную фуражку. Костистый, жилистый, он, казалось, за последнее время еще больше осунулся, похудел. Лицо почернело, погрубело, руки потрескались. Он был в заскорузлой фуфайке, на ногах — разношенные сапоги с длинными голенищами. Должно быть, продрог. Пожегся зябко, подобрал шею в фуфайку. Дым хоть и щекал ноздри, однако, сулил тепло, грел душу. Бекбаул опять закрыл глаза, погрузился в дрему, странное со-

стояние между сном и явью. Разговоры в юрте доходили до сознания обрывками, издалека, потом исчезали, растворялись в мареве причудливых видений. Монотонный шум осеннего ливня, сливаясь с бормотанием джигитов, звучал в ушах приятной колыбельной песней, навевал истому, покой...

Что это? Кто это? Странная птица. Медленно, плавно опускается все ниже, ниже, перья ее переливаются, сверкают в лучах солнца. Клюв острый, медный. Вместо когтей — изогнутые стальные ножи. Гигантская, жуткая птица! Ее огромная тень зловеще скользит над горами, над долами, над лесами... Вон в безбрежной степи виднеется чабан, грязный, оборванный, он бежит за отарой, размахивает посохом, кричит, ругается. Гигантская птица, распластав крылья, на мгновение повисла над ним, между небом и землей, и вдруг камнем ринулась вниз, прямо на чабана... Все! Погиб несчастный. Разве спасешься от этого чудовища?! Нет, бедный чабан и рта раскрыть не успел, как со свистом обрушилась на него птица, уселась на плешивую его голову и обернулась маленькой, как синичка, шилохвостой птахой. Мгновенно степь наполнилась людьми. Они, ликуя, посадили чабана-оборвыша на белую кошму, провозгласили его ханом. Оказывается, на плешивую голову чабана опустилась сказочная птица счастья. Грозный повелитель этого края приказал долго жить, народ остался без владыки, и тогда по древнему обычаю открыли железную клетку, выпустили на волю жар-птицу. Тот, на чью голову она опустится, должен быть избран ханом. Не каждый в состоянии вынести этот дар. Бывает, иного больно ранят, а то и искромсают острые, как нож, когти птицы. Но если она, опускаясь, превращается в крохотную, безобидную птаху, значит, такова божья воля. Быть пастуху-оборвышу ханом. Теперь он восседает на золотом троне в белом дворце. Он отныне всемогущий повелитель и справедливый правитель. О справедливости его будут рассказывать легенды: дескать, даже волосок он может рассечь по вдоль мечом правды. Он прославится на всю степь, имя его будут произносить с трепетом и благоговением, но в душе справедливого хана растет неизбывная тоска. Она печалит, старит его сердце. Он вдруг ясно поймет, что невозможно быть одновременно всемогущим повелителем и справедливым правителем, и эта смутная душев-

ная тревога постепенно разъедает его волю, подтачивает силы. Вскоре он отречется от соблазнов власти и богатства, лживый мир станет немил, невыносим, и он почувствует себя в роскошном дворце одиноким и несчастным. Однажды он выйдет из ханских покоев и прикажет выпустить на волю долгие годы томящуюся в железной клетке жар-птицу. Проводив ее взглядом, он сбросит с себя богатое ханское одеяние, облачится в истлевшую рвань пастушонка, возьмет в руки старый черный посох и уйдет, куда глаза глядят... С тех пор, рассказывают, никому не суждено больше видеть жар-птицу. Поговаривают, будто улетела она за древние Капские горы и обитает там на недоступных скалах, будто раз в год поднимается над горами, долго-долго кружится, парит в вышине, но так и не находит того, кого могла бы облагодетельствовать счастьем. Кто знает, может, и сказки все это... Но так говорят в народе, и значит, есть она, волшебная, огненная жар-птица...

Ту-у, что только не померещится! Покойный отец-старик часто, бывало, рассказывал ему в детстве красивую сказку про птицу счастья, вот и приснилась она теперь. Причудливые бывают сны. В последнее время он плохо спит, беспокойно на душе, вот и снится всякая чушь.

Бекбаул сдвинул фуражку на затылок, помотал головой, разгоняя дрему. А хорошо, что малость вздремнул: в теле сразу появилась бодрость. Дождь не прекращался, временами лишь затихал, чтобы потом обрушиться с новой силой. Повариха все же разожгла самовар и теперь в белом чайнике готовила заварку. Бекбаул почувствовал голод.

— Оу, тетка, что-нибудь, кроме чая, дашь нам сегодня?

— Я, что ли, виновата, если дождь льет?!— буркнула повариха.— Может, вечером распогодится, тогда и сварю что-нибудь.

— А если не распогодится? С голоду подыхать?

— Ну, а что я могу, господи?!.

— Надо треногу перенести в юрту. И теплее будет, и ужин сготовишь.

— В самом деле, другого выхода нет,— подал голос Сейтназар.— Теперь на погоду надеяться нечего. Наглотаемся, конечно, дыму, но без горячей пищи не обой-

тись. Не так ли? Так, конечно! Значит, придется поставить таган здесь, товарищ повар.

Сейтназар был назначен мирабом аула Байсун и теперь на стройке канала руководил кетменщиками своего колхоза. Сейчас он не приказывал, не покрикивал, однако, держался с достоинством и говорил по-прежнему веско. Не любил, когда возражали или походя роняли: «Не могу». Новый председатель колхоза сразу же проникся уважением к Сейтназару. Он ценил в нем толкового, знающего работника и часто обращался к нему за советом. Зная это, иные забияки-зубоскалы не осмеливались распускать языки при Сейтназаре, хотя теперь уже и бывшем баскарме. С рядовым кетменщиком Бекбаулом повариха переругивалась без смущения, но Сейтназару перечить не решилась.

— Это, конечно, можно, но у тагана одна ножка еле держится...

— Скажи Карлу Карловичу. Он мигом припаяет.

— Конечно, так и сделаю...

Бекбаул замолчал, едва вступил в разговор Сейтназар. Между ними не было стычек, хотя и поглядывали друг на друга косо. Сейтназар, конечно, уже знал, что главным виновником его несчастий был главбух, давнишнейший на него зуб, но он не мог простить Бекбаулу то, что тот стал глупой дубинкой в подлых руках, что именно он послужил поводом для наветов и травли. Он не находил оправдания для джигита, у которого не было своей головы на плечах. И еще его злило, что зачинщики грязной травли безнаказанно разгуливали по аулу и жили припеваючи, безмятежно. Мангазин по-прежнему восседает на своем месте, и стул под ним не шатается. И с Альмухановым ничего не случилось, машет кетменем, канал строит. В правлении поговаривали о том, что следует оставить мирабом Бекбаула и на вторую очередь стройки, но парторг решительно высказался за Сейтназара, изнывавшего от безделья дома. Как-никак старый товарищ ведь, заступился, не позволил оставить его на отшибе. И вот опять скрестились пути Бекбаула и Сейтназара. Ничего, утешал себя Сейтназар, дай срок, построим канал и тогда повоюем за справедливость, выведем кое-кого на чистую воду...

Все это время Бекбаул чувствовал себя на распутье. Он еще не сделал для себя определенного вывода, и на

душе было смутно, нехорошо. То он обвинял во всем своего шурина, то с презрением думал о собственном мало-душии, то подозрительно косился на Сейтназара, который тоже оказался отнюдь не ангелом. Если бы все, что написал Таутан, было явной и откровенной ложью, то, может быть, у него, Бекбаула, раньше бы открылись глаза, и он с честью бы выбрался на широкую дорогу, не плутая по кривым тропинкам. Только где она, широкая дорога?.. Не так-то просто найти ее в жизни. Вот уже, считай, тридцать лет живет на свете, а разве нашел он этот ясный путь, разве идет он по жизни твердым шагом?.. Э-хе-хе... Или сам путаешься, или тебя кто-то путает. И всякий раз, когда тычешься носом в какую-нибудь неприятность, хлопаешь ушами и недоуменно разводишь руками: да как такое могло случиться, как можно было так опростоволоситься?.. И тогда взбрыкиваешь, как строптивый стригунок, стремясь скинуть недоуздок судьбы. Глупо все это. В конце концов радостей и горестей не миновать, раз ты пришел человеком в этот мир. Будут и большие радости, случаются и большие горести. И они оставят свои зарубки в горячем сердце, которое от них или изнашивается, стареет, или, наоборот, закаляется, молодеет. И от этого тоже не уйти. Что ж, это и есть жизнь! Этим, должно быть, она и дорога, и вечно таинственна, прекрасна. Дорога не только тем, что сладка, соблазнительна, но и тем, что порой горька и способна причинять боль.

Потягивая из большого кесе жидковатый, отдававший дымком чай, Бекбаул все думал и думал о своем. Иногда он поглядывал на аулчан. Они сосредоточенно ели, макая куски лепешки в растопленное масло в большой чаше посередине. Сдружились они на этой работе, жили душа в душу, привыкли последним делиться. На резком осеннем ветру с утра до вечера кетменем да мотыгой прокладывают канал. Сколько сил уложено, сколько пота пролито, но ни один не жатовался на трудности, никто не хмурил брови. А ведь у каждого небось наслоилось в душе и хорошее и плохое, у каждого свои заботы и радости. Еще вчера Бекбаул ничем не отличался от своих сверстников, но сам накликал себе беду, сам оступился, не той тропинкой пошел... Теперь нашел свой родной косяк, снова очутился в своей среде, и с этого момента его не покидала надежда вновь обрести душевное равнове-



сие. Узнав о начале второй очереди строительства канала, Бекбаул захватил свой верный кетмень и одним из первых прибыл сюда. Он уже не был мирабом, и что удивительно, это его совершенно не расстраивало. Он искренне предпочитал быть рядовым кетменщиком. Слава богу, сила есть, кетмень держать в руках не разучился, и теперь он поспорит с самим Рысдавлетом. Строительство канала завершается. Скоро достигнут желанной межи. А там, куда поведет жизнь — покажет время.

Дождь ослабел, выдохся. Кетменщики повеселели. Подул бы ветерок да показалось солнце, и они бы дружно выкопали русло канала, по которому весной в их степь придет благодатная вода. Тяжело томиться в осеннее ненастье без дела.

Порывистый ветер ударил в грудь скованного черного неба и, разорвав в клочья облака, погнал их вдаль. Робко улыбнулось солнце...

## I

Агабек, резко откинув полог, ввалился в юрту. Сидящие в ней удивленно уставились на баскарму<sup>1</sup>. Даже в вечернюю темень масляно поблескивают пронзительные глазки из-под белой войлочной шляпы, сшитой на киргизский манер. Крупная голова, упирающаяся в жирный двойной подбородок, надменно откинута назад.

В середине юрты горит очаг. Меж крест-накрест положенных кривых сучьев саксаула вырываются неровные язычки пламени и жадно облизывают дно чумазого казана на треноге. В прорехи юрты воровски шмыгает пронизывающий осенний ветер. Он обнимает оранжевое пламя, тормошит, дергает его из стороны в сторону, отчего синий дымок заволакивает лицо, ест глаза.

— Тыфу, проклятие! — досадливо бормочет повариха и, задыхаясь в горьком дыму, начинает шуровать огонь косеу — длинными железными шипцами.

Вокруг огня на истлевшей, дырявой кошме, растеленной поверх соломы, сидят несколько женщин. При виде Агабека они отодвинулись к стене. И только Катшагуль, ничуть не смущаясь, с откровенным любопытством, вызывающе уставилась на лихо закрученные черные усы председателя. Рядом, облокотившись на колени, застыла Жанель.

Глазки Агабека горят, поблескивают, жадно шныряют по женщинам. «Смотри-ка! Жанель-то ничуть не постарела...», — с удовольствием отметил он про себя... По-

---

<sup>1</sup> Баскарма — председатель.

том сунул большие пальцы за широкий кожаный ремень, стянувший тугой живот, и грозно, как подобает председателю, сказал:

— Эй, бабы! Чтобы завтра еще до пения жаворонка на работу вышли. Понятно? Из района уполномоченный едет. Не копошитесь, не дрыхните. Все ясно?

Катшагуль, не спуская глаз с холеных председательских усов, послушно кивнула. Никто не проронил ни слова. Привыкли к окрикам: каждый божий день одно и то же.

Председатель вышел, и вновь воцарилась тягостная тишина. С наступлением ночи она навевала безысходную тоску и жестоко терзала осиротевшие души женщин. Нарушила тишину повариха, которая в сердцах ткнув железными шипцами в огонь и ударив по тлевшей головешке, пробурчала:

— Нашел на кого орать, кобель!

Ни с того, ни с сего взбеленилась Катшагуль. Баба она языкаястая, из тех, что режут правду-матку и не очень-то поддаются невзгодам. Вот и теперь она вскочила, замахав руками, точь-в-точь забубенная, бедовая вдова.

— Ты что, дезертирские речи заводишь, а?! Тебе баскарма дорогу перешел, а?!

— Ты! — ошетинилась и повариха. — Прихвостней в этом ауле и без тебя хватает. Заткнись! Болячку твою, что ли, задела? Взъерепенилась, дура!

Ну, разве Катшагуль такое стерпит? Не на ту напали. Ругнулась по-мужски, будто помоями окатила:

— У, мать твою в гробу...

И взбудораженная короткой перебранкой, ища поддержки, оглянулась на подругу. Жанель тихо всхлипывала. Обе стороны мгновенно стихли. Большие, слезами наполненные глаза Жанель немигающе уставились на ярко горевший под таганом огонь. Щеки ее пылали. Задыхаясь в плаче, она вдруг обеими руками рванула ожерелье, змеей обвивавшее смуглую шею, и черные, блестящие бусы, точно слезы, посыпались на подол...

\* \* \*

— Жанель! Слышь, Жанель!..

Ломкий, дрожащий голос до сих пор стоит в ушах. Слабей, обрываясь, он доносится издалека, будто во-он с

того берега реки. То голос Нуртая. Ее плоть от плоти, первенец, в тяжких муках родившийся. Удивление и по-детски откровенная жалость застыли в чуть прищуренных серых глазах. Из-под угольно-черных густых бровей они смотрят растерянно, беспомощно. Неокрепший, неустановившийся взгляд подростка, не выбравшего еще точки опоры в кутерьме жизни.

Она увидела сына в дверях красного вагона. В шумной толпе новобранцев он казался совсем мальчишкой, щуплым, хлипким, будто прутик ивы. Широкий, с ладонь, туго-натуго затянутый ремень, казалось, вот-вот перережет тонкий юношеский стан. На бледном, без единой кровинки, худощавом лице напускная сдержанность и мужская, явно не по летам, суровость. Над плотно сжатыми губами только-только пробивается легкий пушок. В маленькой, подтянутой фигурке, с независимо вскинутой головой, чувствуется напряженность. И только подрагивают ресницы прищуренных глаз. Именно они, эти встревоженные, блуждающие глаза, выдают, что он вовсе не грозный батыр, отправляющийся на кровавую сечу. Но наивно увлекающийся, еще всему подражающий юнец не замечает этого несоответствия. Разве до этого сейчас? Чем-то похож он на молодого петушка, довольного своей грозной, внушительной тенью.

Он был первенцем у матери и потому, как это принято в аулах, звал ее по имени. Вот и сейчас, видно, о чем-то вдруг вспомнив, он с трудом разыскал ее глазами в многолюдной, шумной толпе и крикнул срывающимся голосом:

— Жанель! Слышь, Жанель!..

Маленькая железнодорожная станция Чиили утонула в криках и плаче толпы, провожавшей новобранцев в далекий и неведомый путь. Что кричал сын, Жанель так и не расслышала. Ничего вокруг не замечая, исступленно пробивалась она по бурлящему людскому морю к красному вагону. Но в это время старый, чумазый паровоз в голове длинного состава раза два глухо и протяжно промычал, словно корова при виде теленка, и, нутужно пыхтя, шипя, тихо тронулся с места. Наконец он вырвался из ошалевшей от слез и крика толпы и, набирая скорость, решительно, неотвратно помчался на запад. Густой черный дым, клубившийся из трубы паровоза, стремительно удаляясь, превратился вскоре в едва

заметные серые тучки на унылом небе. С онемевшей вдруг, опустошенной душой люди еще долго глядели на них...

То был 1941 год.

Жанель понуро побрела домой. У входа в землянку сидел, опустив голову и плечи, свекор, Туякбай. Был он сейчас похож на старый, трухлявый пенёк. Рядом стояла, покусывая руку, Айзат, тринадцатилетняя дочка Жанель. Слезы капали с бороды старика. Всхлипывая, он тряс сивой головой, словно козлик, отгоняющий назойливую мошку. Мелко-мелко вздрагивала и борода. Заметив подавленную горем сноху, старик обеими руками заколотил себя по голове и безутешно, по-старчески завывал:

— Вот и пришел конец роду Қазыбая, сно-о-шенька...

— Что беду-то кличете, отец!— испугалась Жанель. То, что обычно стойкий в горе старик так убивался, вселило в нее суеверный страх.— Да смилостивится над нами аллах всемогущий!

— Аллах! Аллах!— крикнул в отчаянии Туякбай.— Этот аллах лишил меня сына! Совсем молодым забрал моего Бекбола! Одна веточка от него осталась, да и ее срубил злодей Агабек. Аллах и Агабек — вот кто мои враги! О-ох!..

— Да при чем тут баскарма, отец? У всех теперь горе. Будь он проклят, Керман-собака!<sup>1</sup>

— Эй, не учи меня! У Туякбая, думаешь, своего ума нет?! Хватает! Мой Керман — Агабек. Да, да, он мой самый лютейший враг. У моего внука еще молоко на губах не обсохло, а он на войну его погнал. Нарочно год ему приписал. Он, злодей, хочет искоренить весь мой род, истребить дочиста. Ему не терпится, когда наше место зарастет бурьяном. Но я ему и на том свете не прощу. Припомню... Жаль, схлестнуться с ним сил нет. Только злорадия, как вода в котле, кипит.

Это верно: сил у Туякбая нет. Иначе давно бы сцепился с ненавистным Агабеком. Издавна идет вражда между двумя семьями. Один конец каната ненависти оказался теперь в руках Агабека, другой — в руках старого дряхлого Туякбая. Сильные руки у Агабека, ничего не скажешь, да и на ногах стоит крепко. А у Туякбая что? Одна немощь да упрямство, и не стоит, а упирается, ту-

<sup>1</sup> Керман — искаж. Германия.

жится. Чувствуя свое превосходство, Агабек не спешил закинуть петлю на тощую шею Туякбая. Считал ниже своего достоинства. Не к лицу ему, клыкастому льву, с шелудивым котом связываться. А Туякбаю и в самом деле, только и остается, что царапаться, словно коту. К тому же когти Туякбая не на пальцах, а на кончике языка, а этим Агабека не возьмешь: слишком толста кожа.

Ночью, уткнувшись носом под мышку матери, Айзат спросила:

— Когда Нуртай вернется, апа?

— Вернется, голубушка... Жив будет, скоро вернется...

Но через полгода пришла «черная бумага» — похоронка. Айзат, как могла, утешала обезумевшую от горя мать:

— Апа, тут ведь написано: погиб смертью храбрых за Родину. А наш учитель говорит: герои не умирают, потому что остается их подвиг...

— Очень нужен мне его подвиг, ойбай! Воскрес бы он сейчас, встал бы из-под земли, и не надо мне его геройства...

...Что это? Перед глазами вспыхнул огонь. Вот взметнулось яркое пламя. Все, все охвачено пожаром... Жадные языки пламени то со змеиной упругостью взмывают в небо, то стелются низко, мелькают перед глазами, будто подол огненнокрасного шелкового платья. Раскаленное дыхание огня обжигает лицо. Вот!.. Вот сейчас пламя обрушится на нее и... О, господи!

— Жанель! Жанель, говорю!..

Пламя мигом исчезло, погасло. Огонь отступил и теперь вяло облизывал дно черного казана на треноге. Рядом, как в зыбком мареве, смутно темнела Катшагуль.

— Что с тобой?! — Она ткнула подругу коленом, чтобы вывести ее из оцепенения.

— Спрашиваешь еще! — вздохнула сидевшая в сторонке Ряш. — Не видишь разве? Горе ее оглушило. Каково матери единственного сына потерять?!

Она медленно всем своим грузным телом повернулась к Жанель. Ряш в ауле любили за спокойствие и благоразумие. Один из двух ее ушедших на войну сыновей вернулся после ранения. Теперь учителем в школе. Это он рассказывает аульным сорванцам о разных ужа-

сах войны. Ряш день-деньской благодарит всевышнего за то, что хоть один из сыновей вернулся живым.

— Ух! — вздохнула она, поправив белый, широкий жаулык<sup>1</sup> на голове. — И от моего Баталжана ни слуху, ни духу. Наверное, даже письма писать некогда. Мой сын-учитель говорит...

— Эй, а вы слышали? — встряла тут же в разговор Катшагуль, не спуская, однако, глаз с Жанель. — Говорят, Аип-ишан<sup>2</sup> сказал: в этой войне советы проиграют. Так, якобы, написано в коране...

— Господи, разве такое может быть?!

— Э, думаешь, коран неправду говорит?

— Пусть отсохнет язык у старого хрыча! — возмущалась всегда спокойная Ряш. — Мой сын-учитель говорит: из наших казахов вышел отчаянный храбрец по имени Баурджан. Он, говорит, один, не боясь, против тысячи идет. Когда немцы, разинув пасть, ринулись на Москву, батыр Баурджан на белом коне прогнал их, потопив извергов в собственной крови. Подняв над головой саблю, он вызвал на поединок самого главного подлюку — Китлера, но тот дал деру и еле ноги унес. Мой сын-учитель говорит: пока у нас есть Баурджан — ни одна собака не сунется.

— На счастье детей и жен, видно, этот храбрец родился.

— Дай бог ему сил и долгих лет жизни!

Жанель будто оглохла. Разговоры, ругань женщин доносятся до нее издали, чуть слышно, словно жужжанье мух. Смысл слов и вовсе не доходит до ее сознания. Какие-то тени, видения колыхаются, мелькают вокруг.

Вот и огонь под черным казаном погас. Повариха сняла с тагана котел, размешала похлебку с айраном. Остальные шарили в углу, доставали деревянные миски, ложки, ополаскивали их, готовясь к ужину.

Жанель, словно в бреду, стряхнула с подола бусинки, медленно поднялась.

— Куда ты? Поешь хоты! — окликнула ее повариха, но Жанель не обратила внимания ни на ее слова, ни на изумленные взгляды подруг.

---

<sup>1</sup> Жаулык — головной убор замужней женщины.

<sup>2</sup> Ишан — высокое духовное лицо у мусульман.

Катшагуль бросилась вслед.

Катшагуль считала себя подругой Жанель, несмотря на разницу в возрасте. Ни на шаг от нее не отставала. «Похоронка» на мужа пришла ей еще в прошлом году. Сильно тогда убивалась: волосы на себе рвала, лицо в отчаянии исцарапала. Сейчас она забыла то горе, как выздоровевший человек забывает тяжкую болезнь. Бог, создавая Катшагуль, проявил излишнюю щедрость: руки-ноги у нее — что добрая кувалда, бедра шириной в поднос, груди — что верблюжий горб, глаза выпуклые, белесые, нос мощный, губы толстые, одним словом, богатырь-баба. За свой недолгий век она трижды выходила замуж, но мужья что-то не выдерживали, изнашивались, что ли, с ней, всех троих в могилу загнала. Последний, грубо сколоченный, добродушный детина, погиб на войне. Детей, цепляющихся за подол, у Катшагуль не было. Свекра и свекрови, следящих за каждым шагом, — тоже. Одинокая вдова, вольный казак, она и теперь, в это горестное время, находила себе изредка забаву, утешалась, как могла, скудными, короткими бабьими радостями.

В ночной темноте мерцает огонь в продолговатых земляных печках-жерошаках перед лачужками на току. Темнеют горы пшеницы, вокруг которых ходят старики-охранники с ружьями за спиной.

Катшагуль, часто оглядываясь, шла за Жанель, постепенно погружаясь в мрак ночи...

Они подошли к широкой реке со множеством островков, заросших камышом и осокой. Когда-то, в старину, река Кара-узек была полноводной, и вокруг, рассказывают, простиралось зеленое царство. Тогдашние дехкане-земледельцы качали воду чигирем, вручную поливали посевы на берегу, потому что никакими арыками невозможно было направить воду вверх. Сейчас река несет свои воды впустую, безо всякой пользы, в степь. Летом сюда приходят ненадолго косцы с серпами и литовками косить молодой курак, зимой пешней, ломом долбят лед рыбаки.

Недавно эта река стала свидетелем ужасной трагедии, разыгравшейся здесь. Перевернулась утлая лодчонка и средь бела дня утонула жена Акмолды с тремя детьми. На укромном мысе на том берегу реки Агабек приказал поставить одинокую юрту, куда поселил моло-



дую женщину, обязав ее доить кобылицу и готовить для него и его дружков хмельной кумыс. Место удобное, тишь да благодать, в стороне от любопытных глаз. Правда, люди поговаривали, будто у председателя другое на уме. Однако красивая жена Акмолды соблюдала верность мужу, находившемуся далеко, на войне, и не подпускала к себе Агабека...

Так вот, переправлялась она сюда, на этот берег, с детьми: двумя мальчиками и девочкой, и вдруг, на самой середине — то ли ветер налетел, то ли шайтан подтолкнул — лодка перевернулась. Время было обеденное. Услышав иступленный крик, колхозники, работавшие невдалеке, примчались на берег и увидели барахтавшегося на середине реки двенадцатилетнего сынишку Акмолды. Перепуганный насмерть, он отчаянно кидался то к одному, то к другому берегу, и пока двое джигитов, сорвав с себя одежду, бросились на помощь, он, захлебываясь, обессиленно зовя мать, на глазах у всех исчез под водой...

Потом железной треногой на аркане обшарили дно, вытащили всех четверых. Младшие обвили ручонками шею матери, да так и потопили ее. Несчастная, видно, и крикнуть не успела. Неподалеку нашли и труп старшего.

На другой день из района прискакал милиционер, осмотрел то место, где перевернулась лодка, потом, по приглашению Агабека, вошел в красную юрту на току, служившую конторой, и весь день, до самого вечера, просидел на почетном месте за богатым дастарханом. Уже после захода солнца он, шатаясь, вышел, взобрался на белого скакуна, стоявшего на привязи возле юрты, и той же дорогой поскакал назад. Только пыль клубилась за ним. И все видели, как Агабек поддерживал его под руку, как подсаживал на коня, как, прощаясь, увивался вокруг. Акмолда же пока воюет. Вот горе-то будет, когда он, бог даст, домой вернется. Тогда-то и спросится с Агабека. Разыграется над его головой черная буря... Так рассуждали простодушные аулчане, надеясь, что придет, несомненно придет час расплаты.

Агабек... Опять все тот же Агабек.

За спиной послышался испуганный голос Катшагуль:

— Ну, что мы здесь одни торчим?! Страшно! По оврагу, говорят, дьявол рыщет. Пойдем. Ту-у... А холодно, как, господи!...

Жанель посмотрела на небо. Ничего не видать. Сплошной мрак окутал и небо, и землю. Только во-он там, в бездонной пучине, дрожит, мерцает, готовая вот-вот сорваться, одинокая звезда. Она словно жалуется на свое одиночество, дрожит перед затуманившимися глазами Жанель, и страшно, должно быть, ей там, на черном, холодном небе. Может, чувствует, что недолго ей осталось светить. К ней, словно хищник, подкрадывается мохнатое облако. Откуда-то налетел пронизывающий ветер. Под необъятным сводом неба сверкнула молния...

— Ну и темень — ужас! К дождю, должно быть, а?..

Жанель молчит. Мрачна ночь... Сонно бормочет Черная речка... И женщина на берегу, застывшая в оцепенении. Белый жаулык обмотал шею, ветер треплет его кончик.

Снова шквалом налетел ветер. Мерцавшая в пучине неба звездочка погасла. Свинцовые тучи, схлестнувшись, точно льдины в половодье, издрались в клочья. Плотный камыш накренился, засвистел, запел на разные лады. Черная речка покрылась морщинами, отливая холодным блеском волн...

Хлынул ливень. Холодные струйки стекали по лицу за шиворот, лезли за пазуху. Внезапно начавшийся ливень также мигом и успокоился. Тучи развеялись, разорвались, будто растеребленный клочок шерсти. Снова за-сверкали, замерцали по-осеннему холодные, далекие звезды. Вокруг установилась тишина, все погрузилось в разморенную, приятную дрему. На том берегу смутно темнели заросли туранги...

— Жанель! Слышь, Жанель!..

Она вздрогнула. Уж не голос ли Нуртая, ее Нуртай-жана, донесся из-под земли? Не его ли зов звучит в ушах неутешной матери? «Сыночек мой, солнышко мое, единственный! На чужбине сложил свою головушку. Знала бы где, землю ту целовала, рядом бы с тобой легла. Где он, этот неведомый, далекий холмик, укрывший тебя? О, недобрая судьба! Зачем, зачем погубила ты его, неумышленного, невинного?! И полюбить-то не успел бедненький. До двадцати не дожил, а уж холодную могилу уготовила злая судьба... Господи, хоть бы мать несчастную пожалел!..»

— Слышь, Жанель?!

— Что, родненький?

— Ну, пошли же. Пойдем, посним. Утром в сумерках ведь вставать. Баскарма-то предупредил, завтра из района уполномоченный будет...

А... Это Катшагуль. Агабек? Да, да, он и есть председатель. А вообще-то уже осень. Уже осень...

Катшагуль подошла ближе, заглянула ей в лицо и испуганно спросила:

— Ты... ты что это шепчешь?..

Жанель посмотрела на нее долгим, невидящим взглядом и, ничего не ответив, повернулась и зашагала в сторону юрты.

## II

Осеннее солнце только что исчезло за горизонтом, но последние лучи его еще не погасли, и там, на западе, горизонт был сплошь расцвечен оражево-красными полосами. Высоко-высоко, под синим сводом, ровной цепочкой тянется стая птиц: пора в теплые края.

Под хмурым небом раскинулась по-осеннему печальная степь. Травы еще не пожухли, но верхушки тронуты желтизной. Только плотный жантак-верблюжья колючка не поддается осеннему холоду, стоит, сочная, зеленая, чуть-чуть под ветром колышется. А вот тамариск и колючий тростник заметно поблекли, обезлистились.

Самая пора страды. Вся долина, засеянная рисом, зыбится, отлиывает золотом. Между рядами белеют жаулыки жниц. Солнце зашло, а они все жнут, спешат. Лишь изредка то одна, то другая разгибается, выпрямляет спину, дает натруженным рукам немного отдохнуть.

Вдали показался учетчик с деревянной саженью на плече. Он плетется со стороны тока, не торопится. Чью-то старую пилотку нацепил набекрень. Борта засаленного пиджака сплошь в значках. Откуда их только понабрал? Под мышкой потертая, пузатая кожаная папка. За ухом толстенный, как у плотников, карандаш. Тоже из себя начальника корчит. Идет, а сам пугливо, робко на собственную жиденькую тень косится. Молод еще, губошлеп, рот до ушей, лицо от ветра и солнца огрубело, почернело, одни зубы белеют.

Это Пернебай. Забава и предмет насмешек игривых вдов и молодух этого аула.

Подойдя к женщинам, Пернебай молча снял с плеча

деревянную сажень и начал мерять ряд, выкошенный Катшагуль. Та, едва увидев его, раскричалась на все поле:

— Эй, ты, петух недорезанный! Куда прешься со своей палкой! Подальше, подальше, оттуда начинай!

Но Пернебай, казалось, оседлал осла упрямства: не обращая внимания на вопли скандальной бабы, он шел вдоль скошенного ряда, небрежно тыкая саженью туда-сюда... Да и что их слушать? У них, ясное дело, одни хан-ханьки на уме. Он единственный мужчина среди них, его бы на руках носить надо, а этим длиннополым лишь бы посмеяться. Страшней всего Катшагуль. Не дай бог попасть ей в лапы. Не вырвешься. За самое чувствительное место цапает бесстыжая. Палач, а не баба.

— Эй, что ты палкой размахался?!

Глазищами так и пожирает, так и пожирает. Задом, что вертихвостка, виляет. Платье на груди расстегнуто. Нарочно, конечно... Иссохлась вся по Пернебаю. Умирает. С другими наигралась, теперь с ним позабавиться захотелось. Раскорячилась, руки в боки. И чего хохочет? Шута, что ли, в нем увидела?

Жаль, что он всего-навсего учетчик с дурацкой саженью в руках. А будь он председателем, как Агабек, да еще на белом скакуне, показал бы этой бабе, как задом вертеть! По струнке бы перед ним ходила...

— И это все, на что ты способен? А?!— Катшагуль решительно подскочила, схватила учетчика за руку.— Брось свою деревяшку!

— Осторожней, женщина!— важно сказал Пернебай.— Я нахожусь на государственной службе.

— Ах, вон оно что?! Уа-ха-ха-а! Эй, Кульпаш, Патан, сюда, сюда идите!

— Оставьте, говорю. Последний раз предупреждаю...

— Уа-ха-ха-а! Он сегодня мужчиной стал, а! Идите бабы, проверим...

Пернебай, оказавшись в окружении молодых женщин, явно струсил. Теперь уже ни гнев, ни уговоры не помогут. Только хуже будет. Шутки у них — срам один.

— Ну, что? Что вам надо?— через силу улыбнулся он.

— Сам догадайся. Ты же мужик.

— Ха-ха! Нашла мужика! Мужики, милая, на войне воюют.

— Но-но, я не потерплю оскорблений. Учтите, я скажу председателю. Я вас научу вежливости...

— Эй! Серьезно? А я тебя сейчас поучу...— вцепилась в него Катшагуль.

Пернебай вырвался, бросил сажень, рванул по полю. Женщины, подбоченясь, залились веселым, игривым смехом.

\* \* \*

Пока товарки тормошили бедного Пернебая, Жанель, закинув за спину небольшой узелок, хоронясь за кустами тамариска, вышла через поле на большак. Однако не успела она пройти и нескольких шагов, как навстречу выскочил всадник, круто осадил коня перед ней. Сытый, выхоженный чалый жеребец грыз удила, перебирал ногами, всхрапывал. Агабек, наклонившись с седла, грозно спросил:

— Что в узелке? Воруешь?!

— Детям-то есть надо, каин-ага...<sup>1</sup>

— А к чему это приведет, ты знаешь?

— Вам видней, каин-ага...

— Иди за мной!

Молча прошли они на ток. На току работали, суетились люди, но их никто не заметил. У кучи зерна Агабек спешился, разнуздал жеребца, отпустил его, потом пристально, строго осмотрел Жанель, похлопав камчой по голенищу сапога.

— Пойдем в контору, составлю акт о воровстве,— усмехаясь, сказал Агабек и пошел в сторону юрты.

Жанель молча шла следом. Возле копны соломы он осторожно и быстро оглянулся. Было тихо, уединенно. Агабек вдруг бурно задышал, схватил Жанель за талию, легко поднял. Длинный подол платья задрался, закрыл ему лицо.

— Ты что? Ты что?!— растерянно, задыхаясь, прошептала Жанель.

— Ладно, не шуми, душа моя! Агабек тебя еще не забыл...

---

<sup>1</sup> Букв.— старший деверь. Форма обращения женщины к мужчинам старше мужа.

...Давно это было. В лунную летнюю ночь. Убедившись, что ушли от погони, они натянули поводья, перевели взмыленных коней на шаг. Слева гигантским серебряным подносом поблескивала зеркальная гладь озера. Ночь была полна таинственных звуков. В траве без умолку стрекотали степные сверчки, с озера доносилось любовное пение лягушек, радостно и торжествующе пели полевые цикады. Небо широко раскинуло свой чистый купол, густо усеянный яркими, мерцающими, перемигивающимися звездами. Полнолуная красавица-луна щедро поливала землю молочно-белым светом. И к этому свету рвалась, торжествуя и ликуя, девичья душа, будто там она увидела свое счастье.

Впереди, за оврагом, нетерпеливо ждет желанный, любимый Бекбол. Она впервые увидела его, невысокого смуглого табунщика из рода Найман, прошлым летом на джайляу «Мынбулак» во время игр у качели. С ним был тогда и этот Агабек, услужливый нарочный бая, его «тяни-толкай». Бекбол и Агабек поклялись друг другу в вечной дружбе. Весь год после той встречи Жанель жила словно между сном и явью. Отец ее, известный богач и выборный родовой судья, бай Жузбай, бий Жузбай, как говорили в аулах, разумеется, ни за что бы не отдал родную дочь безродному, голоштанному бедняку. Старого бия едва не хватил удар, когда он узнал о сердечном влечении дочери. Встретиться влюбленным было не легче, чем пройти грешникам в аду по волоску. Выручил их бывалый, отчаянный Агабек...

И вот нынешней ночью вырвалась-таки Жанель из отцовской юрты, навсегда покинула родной аул. Покинула без сожаления, без грусти. Мысль о том, что скоро она увидит, обнимет своего Бекбола, наполняет ее сердце радостью и счастьем. А там, позади, остались посрамленные, униженные отец и мать, братья и родичи, которые растили, кормили, лелеяли ее восемнадцать лет.

Жанель не была сказочной красавицей, однако по шаловливой, избалованной дочери богача Жузбая сохли сердца многих щеголей в округе. Она, бывало, дни просиживала у круглого зеркала, разглядывая свои длинные, волнистые волосы, блестящие, большие глаза, небольшой, аккуратный носик, пухлые, сочные губы. Особенно

привлекательны были румяные, словно кровь на снегу, щечки, гладкая, нежная, как хлопок, шея, упруго вздымавшиеся под платьем острые девичьи груди. (Нынешняя Жанель, прожившая добрую половину четвертого десятка, — лишь подобие, тень той, не знавшей забот и горя байской шалуньи.)

Каков же он, ее суженый, ее будущий супруг? Красавец? Умница? Или батыр небывалый? Бекбол, избранник ее сердца, не был ни тем, ни другим, ни третьим. Красивым, умным, храбрым представлял ей его Агабек. На самом же деле это был самый что ни на есть беспомощный, забитый тихоня, из тех, что и муху не обидят. Перед ловким, удалым ухарем Агабеком он сильно проигрывал, отставал, как говорят, на целое кочевье. Иногда взлелеянный в мечтах любимый мерещился в глазах Жанель в образе Агабека...

И теперь Агабек вырвал ее из тенет слезки и подозрений. Какой джигит! Истинный, верный друг! Ради них, ее и Бекбола, не раздумывая, пошел на риск...

Ехали рядом, стремя в стремя. Возбужденная ночным побегом, благодарная смелому джигиту, она слегка склонилась к нему с седла, прижалась плечом. В ответ он сильной рукой обхватил, обнял ее за талию.

— Спешимся. Дадим коням передышку. А то при виде запаленных коней у любого подозрения возникнут, — натянул поводья Агабек.

Что ж... И то верно.

Спешились, спутали коней, опустились на высокую, по пояс, зеленую траву. Жанель еще дома переоделась во все мужское. Теперь ей стало жарко, душно. Она сняла круглую шапку из выдры, расстегнула шелковый чапан и, упав навзничь, с наслаждением вытянулась на мягкой, душистой траве. Сейчас, в эту лунную ночь, она показалась Агабеку сказочной феей. Он невольно притянул ее к себе. Маленькие, острые глазки странно блеснули, потом посмотрели на нее с мольбой. Она рванулась, пытаясь высвободиться, но тот с мрачной решимостью подмял ее, нетерпеливо зашарил руками. Она еще раз попыталась вырваться, но неизведанное, хмельное чувство овладело ею. Слабея, она подумала: «Ну, и пусть... Друг ведь... Господи, да что же это я?!» На мгновение все вокруг исчезло: и добродушно сияющая луна, и подмигивающие звезды, и стрекот кузнечиков в ночной

степи, и слезами исходившая там, в ауле, мать, и ее избранник, Бекбол, ожидавший ее в нетерпении за оврагом. Ей почудилось, будто она проваливается в бездну...

Кони наострили уши, замерли, укоризненно покосились на них.

...Первым, что она увидела, распахнув мокрые от слез ресницы, было звездное небо. Прямо над ее головой сорвалась и стремительно упала яркая звездочка...

Только тут она очнулась, вздрогнула, быстро вскочила. Агабек был возле лошадей. Шатаясь, подошла она к нему, повисла на шее.

— Боже, что я наделала?! Как я теперь покажусь Бекболу?!

Агабек, подтягивая подпругу, презрительно цокнул и отвернулся.

— Нашла, кого бояться. Этот раззява ничего и не заметит.

Жанель возмущенно уставилась на его жирный затылок.

— Да как ты смеешь?!

Никогда и никем так не оскорбленная, она чуть было не задохнулась от гнева. Подняв кулачки, она хотела ударить его по широкой, равнодушной спине, но вместо этого, бессильно опустив руки, горько разрыдалась.

Испуганный Агабек обнял ее и начал целовать заплаканные глаза.

— Не бойся. Я ведь всегда рядом с тобой...

А Бекбол и в самом деле ничего не заметил. Зажили они ладно, мирно. Жанель не избегала встреч с Агабеком. Родители и богатые родичи ее подняли было тяжбу, требуя платы за непослушную дочь, однако молодые не робели, чувствуя поддержку новой власти. Да и старший брат Агабека, Бабабек, работавший в Оренбурге, в наркомате, помог им...

Жанель казалось, что она в равной мере любит и Бекбола, и Агабека, и была уверена, что они оба привязаны к ней. Оказалось не так. После того, как родился ребенок, и она малость поблекла, да появились первые морщинки на лице, Агабек охладел к ней, стал сторониться ее. Немало ночей провела она в слезах.

А Бекбол, тот самый тихоня, мямля, со временем неузнаваемо изменился, стал одним из первых активистов



в ауле. Бывший бедняцкий сын, голодранец, еще недавно не имевший ни кола, ни двора, после того, как окончил краткосрочные курсы ликбеза, будто заново родился. Он обрел внутреннее достоинство, научился ярко и доходчиво говорить, агитировать. И люди прислушивались к его словам.

Потом, когда создавались колхозы, его избрали председателем аулсовета. Пошел было Бекбол в гору, на радость родичей и особенно старика Туякбая, да коротка оказалась жизнь бедняги. Заболел совершенно неожиданно, денька два мучился, корчился в судорогах и умер неизвестно отчего. Родственники Жузбая, помогавшие обмывать покойника, говорили потом:

— У зятяка-то нашего тело сплошь в синих пятнах. Видно, аруах<sup>1</sup> его покарал. Да, да! Слишком горло драл несчастный, бедностью своей выхвалялся, хорошим людям житья не давал. И вот пришла расплата...

Кого под «хорошими людьми» подразумевали состоятельные родичи, Жанель знала, но она представляла смутно, чем именно не угодил им Бекбол. Верно, он люто ненавидел всех богачей. Говорили, будто именно он замахнулся дубинкой на ее род, он, Бекбол, якобы, накликал на него беду... И даже, когда отпрыски Жузбая попали под конфискацию и расшвыряло по белу свету всех ее братьев и родственников, в душе Жанель вспыхнуло недовольство, смешанное с досадой к покойному мужу... Впервые испытала она к нему такое отчуждение.

Чувство это, однако, вскоре прошло. И она стала вспоминать мужа с жалостью, сознавая вину перед ним, стыдясь супружеской измены.

И Агабека, как ей казалось, она забыла. Единственной радостью стали отныне ее птенцы — Нуртай и Айзат. В них одних видела она теперь смысл жизни, и силком сдерживала острое желание, иногда огнем вспыхивавшее в молодом теле. Обуздывала, гасила холодом рассудка. Да и Агабек, став баскармой, не обращал на нее внимания. Напоминал о нем только старый Туякбай, свекор ее, который каждый вечер перед сном крепким, непотребным словом поминал его. Это стало вроде бы вечерней молитвой старика. Вот уже более десяти лет доставалось Агабеку от него.

---

<sup>1</sup> Аруах — дух предков.

Когда Нуртаю принесли повестку, Туякбай отправился к Агабеку. Председатель тогда был в силе. Хочет — казнит, хочет — помирует. Одним словом, и царь, и бог. Повестки в то время мусолились в карманах председателей колхозов и аулсоветов. Зная это, Туякбай сходу набросился на Агабека:

— Уай, вражина! Опять срываешь зло на бедных сиротах, а?! Мальчишку-недоростка в огонь толкаешь, а?! Или такой закон вышел? Меня, меня, слышь, отправь в этот ад! И если я вернусь, не имея в своем коржуне<sup>1</sup> сто вражьих голов, плюнь мне в рожу!

Разве Агабек потерпит такое? Смерил презрительным взглядом дряхлого старика, сказал грозно и насмешливо:

— Чего орешь, старый хрыч! Мою работу делать, что ли, его посылают? Не то, что твое отродье, а даже моего племяша, наследника Бабабека, бог знает, куда загнали. Ты хоть газеты читаешь? Радио слушаешь? Какая идет война, за что, знаешь? А?!

Туякбай, холодея от ненависти, выставился в упор, точно бешеный верблюд брызнул слюнями.

А на другой день подался в военкомат. В политике старик малость разбирался, потому ни слова не сказал о внуке. Только твердил упрямо:

— Отправьте меня на фронт!

В военкомате сначала решили, что старик спятил, и не придали значения его просьбе. Молодой лейтенант даже сострил:

— Подождите, дедушка, пока подрастете малость.

Туякбай оскорбился, вспылil, ворвался в кабинет самого начальника. Тот, не в пример молодым, оказался весьма вежливым. Усадил его, внимательно выслушал, головой помотал. Однако заявления не принял.

— Мы, аскакал, хорошо понимаем ваше искреннее патриотическое чувство, ваш благородный порыв. Но и тыл нуждается в энергичных, деятельных людях. Возвращайтесь в колхоз, продолжайте свой доблестный труд. Вот так. Понятно?

— Э, дорогой, — прощамкал старик. — Чего ж тут не понимать...

Взбалмошный, вспыльчивый, но простодушный, безо-

---

<sup>1</sup> Коржун — переметная сума.

бидный Туякбай вернулся в аул, чтобы продолжать «доблестный труд»: пасти единоличных коров аулчан.

По старой привычке он перед сном проходил по матери и всем родичам Агабека. Какая ненависть, что за тайна сидела в дряхлой, тощей груди старика — этого Жанель не знала. Может, о чем-то догадывался?.. Кто знает. Только крепко в нем сидел дьявол мести. Он не уставал проклинать Агабека.

К причуде свекра в ауле привыкли. Одна Жанель не могла привыкнуть. Иногда сердилась: ну чего он привязался к баскарме, ну сколько можно... Но говорить об этом прямо не осмеливалась. Стыдно, неловко как-то.

\* \* \*

— Нет, не забыл, не забыл тебя, солнышко мое, — шептал, все более распаляясь, Агабек.

Те же сильные и столь знакомые руки властно подчинили ее себе. Широкие ладони гладили ее лицо, шею, грудь. Чувствуют ли, замечают ли они, эти жесткие ладони, морщины-бороздки на ее лице? Господи, что это он вдруг засуетился? Рванул лихорадочно пиджак с себя, раскинул его рядом на мягкий ворох сена.

Ой, что это с ним? Может, закричать? Она почувствовала его горячее, тяжелое дыхание. Толстые губы были жестки и потресканы. Бедный, хоть и баскарма, а, видно, и ему солоно приходится. Только усы, пожалуй, такие же упругие, колючие...

Агабек... Все тот же Агабек.

Она глянула на небо. Из-за лохматых, серых облаков пробивались редкие лучи солнца. Тусклое, зарое небо и такой же серый унылый мир. И на душе уныло, нет радости. В соломе шебуршат мыши...

Запахавшись, заплетаясь ногами, подбежал к ним Пернебай. Увидев Жанель, смущенно застегивавшую платье, опешил, заморгал, разинул рот. Отдувается, как паровоз на подъеме.

— Ну, что надо? — грубо спросил Агабек, отряхивая пиджак. Пернебая он и за человека не посчитал. Даже не смутился.

— Басеке, Агеке<sup>1</sup>, — сконфузился учетчик. — Я вас всюду ищу...

---

<sup>1</sup> Уважительная форма от слов: баскарма, Агабек.

— Э, что стряслось?

— Ойбай, вас уполномоченный... просит, ищет.

— Горит, что ли?

— Не знаю... Сказал: разыщи... Ну, я и...

— Ладно! Сейчас приду. Убирайся!

— Хорошо, Агеке...

И побежал неуклюже, спотыкаясь. Глядя ему вслед, Агабек хмыкнул:

— Дурак!

Неизвестно, к кому это относилось: то ли к Пернебаю, то ли к посылавшему его уполномоченному.

— Дур-раки! — процедил еще раз.

Жанель подошла к нему, пристально заглянула в лицо. Глаза его, холодные, злые, надменно смотрели вдаль. Губы презрительно кривились.

— Все дураки!

— Кто же, господи?

— Все! Все! Ни капли ума нет у этих людишек.

Жанель наморщила лоб, похлопала-похлопала ресницами, широко раскрыла глаза, но ничего так и не поняла.

### III

Степь покрыта снегом. От снега кажутся пушистыми и редкие, чахлые кустики. Но эта легкая, снежная навись с шорохом осыпается при малейшем дуновении ветра. И дым из труб бесчисленных пестрых мазанок не черный, не бурый, как обычно, а белесый, невесомый, словно облачко пара.

Все вокруг белым-бело: и земля, и небо.

С лопатой в руке вышла со двора Жанель, долго смотрела вокруг, любуясь сказочно белым царством. Пуховую шаль, завязанную низко, на лоб, горделиво сдвинула назад. Она заметно похорошела с осени: пополнела, на лице румянец, морщинки у рта разгладились, глазам вернулся молодой блеск. Во всем ее облике чувствовалось: женщина обрела, наконец, покой, пусть зыбкий, недолгий, но покой.

Еще недавно на этом месте была нетронутая земля. Лишь перед самой войной здесь обосновался колхоз «Жана турмыс». До этого стеной стоял лес: саксаул и туранга. Даже не лес, а настоящие джунгли. Не-

утомимые человеческие руки выкорчевали деревья, очистили поля, распахали землю. За два-три года этот край неузнаваемо изменился.

Но недолго радовались люди мирной жизни. Черным вихрем обрушилась война. Теперь многие живут во временках, слепленных на скорую руку, и в землянках, словно кроты. Сколько ни топи, а нет в них запаха человеческого жилья, тепла или хотя бы дыма. Тяжелый дух сырой земли, гнили, прелого назема бьет в ноздри.

Но житейские нелады и лишения — не главное нынче горе. Изматывает душевная боль. Сейчас все думают о скорой победе, мечтают о том счастье, которое наступит после войны. Все помыслы людей об этом. Уж так устроен человек: ему всегда кажется, что за узким ущельем, за крутым перевалом откроется простор, зеленый оазис, край изобилия, благодати. Именно эта надежда, предвкушение радости, счастья, придает человеку сил, упорство, рождает цель и подвиг. Без веры нет жизни.

Во всем колхозе пять-шесть высоких саманных домов. Самый приметный, просторный — дом председателя. Не дом — хоромы, пять больших комнат. Когда ввели в него Жанель, она была поражена богатым убранством. Так и застыла у порога, глазам не веря.

Приземистая, прокопченная развалюха Бекбола и в подметки этому дому не годилась. Правда, пол земляной, да и крыша не железом крыта, но то, что было внутри, могло изумить многих аульных баб. Байская дочь Жанель, выросшая в богатстве, за последние годы отвыкла от всего того, чем была окружена до замужества, и теперь этот островок кичливого достатка среди убогих землянок унылого аула ошеломил ее. Вспомнились слова свекра Туякбая: «Этот Агабек, будь он трижды проклят, пиявкой присосался к колхозу. Дочиста ограбил. Будет ли конец этому?!» «Может, и правду говорил строптивый старик», — подумала тогда Жанель, но скоро эти мысли уже не тревожили ее.

Смотри, любуйся: на огромных, костью инкрустированных сундуках сложены тюками шелковые и атласные корпе — стеганные одеяла. Громадный, от угла до угла гостиной, ворсистый ковер достает до пола. Затейливая арабская вязь, узоры, орнаменты невольно притягивают взор. Малограмотная Жанель не смогла прочитать надпись. Да и орнамент непривычный, диковинный. Узоры

горят, переливаются, словно тюльпаны весной в степи. Что ни говори, а редкая, драгоценная вещь, достойная украшать дома избранных. Да, да, это и был знаменитый иранский ковер, краса и гордость Агабека, о котором поговаривали все в округе... И других красивых и очень дорогих вещей немало в этом доме. Есть на что поглазеть.

Жанель улыбнулась, вспомнив жаркий шепот Агабека в ту ночь, когда привел ее к себе в дом: «Владычица, хозяйка всего отныне одна ты, ханша моя. Все, что нажил-накопил, бросаю к твоим ногам. А если, бог даст, родишь мне сына, то и душу в жертву принесу!» Уже прошло несколько месяцев, как вошла она в этот дом второй женой, токал (от этого слова — токал! — ей становилось не по себе, да что поделаешь, если оно так), а никаких признаков на надежду Агабека все еще нет. «Неужели уж стара, не могу?..» — тревожно думалось ей.

А Агабек все приставал, каждый день назойливо спрашивал: «Ну, что? Ничего не предвидится?» Ее коробили эти грубые, постыдные расспросы и иногда хотелось ответить так же грубо, резко, задеть его мужскую честь. Но Жанель сдерживалась, терпеливо ждала... К тому же понимала беспокойство, страх, даже тоску немолодого, никогда не имевшего детей Агабека. Иногда в душе шевелилось подозрение: «Не ради ли ребенка взял он меня в свой дом? Может, только для этого я ему понадобилась?»

Как бы там ни было, а дело сделано...

Жанель, крепко обхватив черенок лопаты, начала разгребать сугроб у входа. Вскоре разгорячилась, почувствовала легкость, бодрость во всем теле. Пар валил из рта и ноздрей, клубился в морозном воздухе...

Стайкой носились, чирикали, суетились воробьи. Аул проснулся рано. Женщины, девушки с ведрами, коромыслами спешили к озеру в низине. Мальчишки-подростки выгоняли из хлевов и загонов скотину.

Спокойно, умиротворенно было на душе Жанель. Разогревшаяся, здоровая, она не чувствовала, не замечала утреннего мороза.

Размахивая новым портфельчиком, выбежала из дома Айзат.

— Апа! Я в школу... — на бегу крикнула матери.

Поскакала-поскакала зайчонком, поскользнулась,

шлепнулась, но тут же резво вскочила, посмотрела на мать и звонко расхохоталась. Щеки, нацелованные морозом, мгновенно порозовели. Черные глаза-смородинки блестели, смеялись по-детски радостно, озорно. Зубы сверкали, как чистый снег на солнце. Курчавые, как у матери, волосы выбились из-под второпях завязанного платка, лезли в глаза. Стройная, тоненькая, она чуть постояла, шаловливо стрельнула глазами в мать, взмахнула портфельчиком.

— Апатай! Бегу! До свидания-я!

Ее ласточка, единственная сестреночка погибшего Нуртайжана. Прямо на глазах растет, да и бойкая, не в пример брату. Не успеешь оглянуться — невеста...

Когда Жанель вышла за Агабека, дочь долго бунтовала, плакала. Потом немного оттаяла, обласканная Агабеком. Что и говорить, щедр Агабек, добр, быстро приучил к себе девочку. Каждый раз, возвращаясь из района, привозит ей разные безделушки да тряпки. И где только достает... Жанель, опираясь на лопату, мечтательно глядела вслед дочери, отдавшись далеким, приятным воспоминаниям.

Да-а... Дочь — единственная лучинка, надежда на этом свете. Отныне на поблекшем небосклоне оставшейся ей жизни и луна, и солнце ее — вот эта курчавоголовая девчонка.

Ай, какая непоседа! И горяча, вспыльчива. Из-за чепухи заведется, губки надует, глазами сверкнет. Отцовский характер. Он выкидывал иногда коленца. Даром что тихоней слыл. А может, она сама в девичестве такой была? Нет, хоть и баловали в семье, а была Жанель по природе покладистой, доверчивой, уступчивой. А дочь совсем другая. Упряма, своенравна, капризна. Нуртай же рос молчаливым, замкнутым. Разница в возрасте между братом и сестрой была невелика, потому они часто ссорились. Зачинщицей всегда была забияка Айзат. Ей доставляло удовольствие заводить тихого братца. Бывало, еще до школы, днями не слезала с него, заставляла его быть «лошадкой». Молчаливый Нуртай, усадив на спину сестренку, пыхтя, скакал на четвереньках, старательно изображая конягу. Наездница горячила, подгоняла его голыми пятками и покрикивала, подражая старшим:

— Ч-чу-у, Нуртай, ч-чу-у!.. Шевелись, волчья сыть!..

Послушный брат проводил разок рукавом под носом, морщил лоб и, сопя пуще прежнего, скакал дальше. Все сносил, все причуды сестренки-шалуны.

Как-то глубокой ночью проснулась Айзат, завопила изо всех сил:

— Нуртай! Покатай меня, ойбай!..

— Э, что случилось, шайтан вас возьми?!— вскочил в испуге старый Туякбай. Свекор почему-то не ладил с богом, не постился, не молился, хотя и любил изображать из себя благочестивца. Каждый вечер перед сном старик рассказывал внукам разные назидательные притчи из священных книг. Все долбил: «Дети, не творите зла, не оскверняйте уста свои бранными словами. Это большой грех, и аллах этого не простит».

А сам Туякбай между тем — первый в округе сквернослов. Всю жизнь пас скотину, пропадал на безлюдье, в степи, ну и привык выражаться вольно, не стесняясь.

Туякбай прицкнул на разбудившую его в полночь внучку:

— Прекрати, бесстыдница! Чего шайтана кличешь?! Айзат завопила еще громче.

Бекбол и Жанель проснулись, но голоса не подавали. Привыкли к подобным «концертам» баловницы. В таких случаях ее мог успокоить только Туякбай, но сегодня и он был не в силах справиться с осатаневшей внучкой. Она бегала по землянке, топала ножками, кричала, надрываясь:

— Ойбай!.. Пусть покатает меня Нуртай!..

Нуртай не шелохнулся. Продолжал лежать он и тогда, когда сестренка взобралась ему на спину, сорвала одеяло и начала колотить его изо всех сил. В ярости Айзат прокричала ему в ухо:

— Нуртай! Эй, Нуртай! Знаешь ты кто? Ты тощий, задрипанный рыжий бычок! Вот. Понял?

Нуртай вскочил, как ошпаренный. Как?! О, ужас! Он... задрипанный бычок? Как тот, во дворе: тощий, все ребра на виду, замызганный, паршивый, со слезящимися вечно глазами?! Да как она смеет?!

Плача от обиды, он с поднятыми кулаками бросился на озорницу. Та, испугавшись, юркнула под одеяло, за спину дедушки. С того дня Нуртай наотрез отказался быть «послушной лошадкой» сестры. Ни уговоры роди-



телей, ни рыдания строптивой Айзат не помогли. Тихоня Нуртай бывал иногда ужасно упрям.

Живо все помнится, будто вчера это было...

Жанель вздохнула. Приятная сердцу тень безмятежного, беспечального прошлого преследует человека, откладывается в душе грустью, тоской.

В это время, поколачивая пятками куцехвостую клячу, размахивая длинной палкой, выскочил из-за угла Туякбай. Заорал еще издали:

— Уай! Околели, что ли, сегодня все в доме Агабека, так его и так... Почему скот не выгоняют в стадо, а?!

Жанель посмотрела на приближавшегося свекра. На нем все та же облезлая, заскорузлая шубенка. На голове старый, засаленный треух. Сивые бородка и усы заиндевели. Маленькое, с кулак, лицо изможденно, съежено, словно ссохшийся клочок кожи. Жанель он будто не замечал. Выпучив белесые, с красными прожилками, глаза, старик с ненавистью и завистью посмотрел на густой дым, клубившийся из трубы председательского дома.

Почтенный Туяке сейчас в страшном гневе. Он не может простить невестку, бросившую его, старика, одного в убогой развалюхе. Вначале он грозился, что поедет в райком и выведет на чистую воду двоеженца Агабека, добьется, чтобы этого новоявленного бая, кулака, шелкнули, как следует, по носу. Однако угрозу свою до сих пор не исполнил. И пока вымещает злобу на коровах Агабека, обкладывает невинных буренок до седьмого колена, от копыт до рогов, да хлещет их немилосердно палкой по бокам, вгоняя в пот и себя, и клячу. Так он мстит заклятому врагу...

Жанель выпустила из хлева двух пестрых коров. Туякбай настороженно следил за ними, словно кошка за мышкой. Глаза его застыли, а нервно трепетавшие сузившиеся ноздри выдавали бессильную ярость.

Замученные побоями коровы, увидев своего мучителя, поджали хвосты, вытянули шеи и прямо со двора шаркнулись в сторону. Старик взмахнул длинной палкой, точно дубиной, ударил коваными каблуками клячу, гневно, срывая голос, взвизгнул, взорвав утреннюю тишину аула:

— У, кулацко-байская скотина! Хозяина вашего в отца и мать... У этого кобеля каждой твари по паре: и коров, и баб.

Последние слова, ясное дело, предназначались бывшей невестке. Жанель побелела. Сколько лет прожила она с ним под одной крышей, но никогда так люто не ненавидела его, как сейчас. Какое ему дело до нее?! И вообще, что людям от нее надо?! Мало она вдовствовала? Жила ради детей? Мало провела бессонных ночей в холодной постели, обливая подушку слезами? Так почему на закате бабьих лет она должна отвергать мужскую ласку? Отказываться от скудной в ее жизни радости? За что обижаться на нее Туякбаю? Разве мало его обхаживала, выслушивала ворчанье и брань? Да пропади все пропадом! Отвяжитесь... Оставьте в покое!

На крыльцо, похлопывая камчой по подолу добротной поярковой шубы, вышел вразвалочку Агабек, глянул вслед Туякбаю, процедил сквозь зубы:

— Старый дурынь!..

Агабек относил Туякбая к многочисленному и презренному племени неудачников и поэтому был к нему откровенно снисходителен. Сейчас же, заметив, как побледнела, запечалилась Жанель, он разозлился.

— У-ух!.. Что бы мне с этим хрычом сделать, а?! На фронт погнать?! Да кому нужно чучело старое? А тут покой от него, баламута, нет.

Агабек, конечно, слышал о том, что Туякбай ездил в военкомат. Чудачество полоумного старика тогда его расшемило, а теперь пожалел, что не он сидел на месте военкома. Подумаешь, стар! Что из этого? Надо было отправить в самый ад. Или уж на худой конец в трудармию. Воюют же, говорят, совсем дряхлые старики в партизанских отрядах. Сделай военком так, и избавился бы Агабек от крикливого сморчка с белесыми глазами...

Жанель посмотрела на Агабека с мольбой.

— Зачем тебе со стариком связываться? Бог с ним! Пусть...

Ненависть, только что вспыхнувшая в сердце, уже успела погаснуть. Зная жестокость Агабека, она искренне, по-бабьи, пожалела одинокого, безвредного старика. Слезы навернулись на глаза.

Агабек молчал. Держа под уздцы лоснящегося мухотого жеребца, на котором ездил только зимой, с теплотой в масляных глазках оглядел Жанель.

— Разве некому больше в этом доме снег убирать? Чего надсаживаешься?

Жанель, опираясь о лопату, молча смотрела на удалявшегося мужа. Мухортый под ним шел неспешно, горделиво.

Как все случилось, она и сама плохо понимала. После той неожиданной встречи на току, Агабек настойчиво преследовал ее и, наконец, привел в свой дом, где столько лет прожил с неродихой-женой. Стала Жанель ему токал.

Странно все получилось. То ли влечение далекой, полузабытой юности вдруг вспыхнуло с новой силой в зачерствевшем было сердце. То ли соблазнили богатый стол и уют, подвернувшиеся неожиданно в такое холодное и голодное, как сейчас, время. То ли онемевшая от горя душа потянулась к неведомому, заманчивому счастью, искала утешения. Не поймешь...

Чем-то дорог был Агабек. Теперь-то понимала: всегда он был ей дорог и люб, всегда где-то в подсознании ближе, значительней Бекбола. Жизнь с Бекболом была лишь супружеской обязанностью и скудна радостями. Любила же она всю жизнь только одного, только к одному тянулась сердцем. К Агабеку. Интересно, с такой ли силой откликалось все эти годы его сердце на ее незабвенную любовь? Об этом не думала Жанель.

Личные радости, сердечные влечения для многих женщин становятся чуть ли не единственным смыслом жизни. Видно, в этом суть женского счастья. И потому даже мираж счастья часто пьянит, слепит женщин, и они, порой бездумно, как говорится, очертя голову, отдаются безрассудному чувству. Так и Жанель, недолго раздумывая, кинулась сразу в объятия вновь вспыхнувшей любви.

В толстой поярковой шубе, туго затянутой в поясе широким ремнем, Агабек на статном мухортом жеребце казался сказочным батыром, собравшимся в поход. Вот так день-деньской мотается в седле. Все колхозные заботы и тяготы на его плечах. Считай, с первого колышка, с первой борозды повод колхоза в руках Агабека. Люди побаиваются властного баскарму. При нем кипит работа. Руководить он мастак. Этого у Агабека не отнимешь. Нравом крут. В гневе и накричать может, и камчой огреть. «Что ж, на то начальник,— внушала себе Жанель.— Они все такие...» Любящая душа, конечно, все оправдывала, защищала его.

Агабек подъехал к Катшагуль, ломавшей во дворе своего дома хворост.

— Эй, Катшагуль! Пернебай жалуется... ты уже три дня на работу не выходишь. Как же так, дорогая?

Катшагуль, должно быть, с левой ноги сегодня встала. Она свирепо глянула на председателя и, заметив наблюдавшую за ними Жанель, отвернулась. Она давно дулась на бывшую товарку, упорно избегала ее.

— А вот так, баскарма! Пусть твой Пернебай не только глотку раззевает, но и зенки свои получше раскроет. А то он, дохляк, только меня замечает. И вчера тут горло драл...

— Ему это положено. А ты-то почему от работы отлыниваешь?

— А что мне, больше других надо?! Не выйду и все!

— Э, что так? Или не желаешь работать в советских колхозах? А?

— Не пугай! Не на ту напал!

— Уай! Чего ерепенишься, безмозглая баба?!

— Не оскорбляй! Не то время, чтобы бабой обзывать... А твой сопливый Пернебай пусть и на других смотрит, которые не по три дня, а по три месяца на работе рыло не показывают. Почему таких не замечаете? Попробуйте на них орать, если такие смелые!

— Не трещи! Говори прямо!

— Э, боюсь, баскарма, болячку твою задеть. А прихвостню моему я говорила: «Вот выгони ее на работу, и тогда пусть разорвет меня, если я тут же не выйду».

— Хватит! Говори: кого «ее»?!

— Жанель! Твою любовницу! Вот кого, ойбай! Ну, что?! Съел?!

Видно, такой дерзости Агабек не ждал. Он опешил, недоуменно уставился на Катшагуль, потом в сердцах огрел таволжьей ручкой камчи жеребца, поскакал прочь.

Жанель все видела и слышала. Она вся вспыхнула, закусила задрожавшие губы. Значит, значит она... всего-навсего любовница баскармы!

— Да будь оно все проклято!— сказала она и, забросив лопату на навес, ушла в дом.

Рысжан, сидя возле белого самовара, потягивала чай.

— Что с тобой, милая? На тебе лица нет!— Она пристально посмотрела на Жанель.— Или нездорова?

— Нет, апа. Просто... озябла немного.

Жанель стянула с себя верхнюю одежду, повесила на вешалку возле двери, потом села у краешка дастархана<sup>1</sup>, чуть ниже Рысжан, взяв из рук байбише<sup>2</sup> кесе-пиалу, налила из белого чайника густой, запашистой заварки, и лишь потом спросила учтиво.

— Вам с молоком, апа?

— Нет. Голова раскалывается, сил нет. Налей, пожалуйста, погуще. Может, вспотею, полегчает немного...

— Сахару дать?

— Не надо, милая.

Белолицая, холеная байбише, подложив под бок пышную подушку, попивала чай не спеша, с наслаждением. Жанель смущалась, словно она была не токал в этом доме, а снохой, робко, незаметно взглядывала на спокойную Рысжан. Юной девушкой вышла та за Агабека. Гордой, надменной красавицей была, говорят. Высокий, все еще почти без морщин белый лоб; небольшие, черные, с длинными пушистыми ресницами глаза; с годами чуть поблекшее, тонкое, чистое лицо — заметные следы былой яркой, броской красоты.

В свое время многие джигиты вздыхали по ней. Агабека она не считала себе ровней, хоть и была сама из бедной семьи. Однако честь мужа блюла, не оскверняла супружеское ложе, несмотря на немалые соблазны. Девушкой, поговаривают в ауле, без памяти любила одного джигита из своего же рода, но джигит тот оказался растяпой, смалодушничал, не решился преступить обычай предков, по которому не положены внутриродовые браки.

Рысжан была не только красива, но и умна. Благодаря ей в семье царил и мир и лад. Бывало, иногда срывался Агабек, обвиняя ее в бесплодии, но она властно ставила его на место. Пожалуй, единственным чело-

<sup>1</sup> Дастархан — скатерть, расстеленная на полу.

<sup>2</sup> Байбише — старшая жена.

веком, которого уважал и даже побаивался Агабек на этом свете, была Рысжан, собственная жена. Перед ней он робел, даже порой заискивал. Это никак не вязалось с властным, крутым нравом Агабека. Вроде бы нечего бояться жены, с которой делил постель долгие годы. Агабек к тому же никогда никого не пускал к себе в душу, ни перед кем не отчитывался в своих поступках. Особенно замкнут был с женщинами. А вот рядом с Рысжан становился неузнаваемо покладистым, как бы оттаивал нутром.

Замкнутой, сдержанной была и сама байбише. Месяцами, годами томилась она, одинокая в большом доме, в едине со своим горем, со своими мыслями.

— О, господи!.. Чем я тебя прогневила?! — вырывался временами из ее груди стон. — Лучше бы ты создал меня глухой, слепой, но не пожалел бы для меня ребенка!..

Но глух создатель к ее мольбам. Не слышат их и глухие стены большого дома. Тесно, душно в просторных, богато обставленных комнатах. Как в могиле. Видно, отвернулась, навсегда отвернулась от нее судьба. С годами совместная ее с Агабеком жизнь начала терять всякий смысл.

Однажды Агабек, смущенно опустив глаза, намеками, впрочем, довольно прозрачными, заговорил о своем желании взять в жены Жанель. Рысжан не стала ему перечить, только вздохнула, изменившимся вдруг голосом сказала:

— Поступай, как хочешь, Агабек. Двадцать лет мы с тобой прожили в мире и согласии. Благополучие не покидало наш очаг. А вот детей не нажили. Теперь и старость уже не за горами. От нее радости не жди. Одно утешение — ребенок. Может, смилостивится создатель. Мешать тебе не стану. Будь счастлив. Что я еще могу сказать...

Ни единым словом не обидела она и соперницу, пришедшую в ее дом. В первое время Жанель бушевала, напрашивалась на ссору, била посуду, дулась, злилась, но байбише ни в чем ее не упрекала. Все отмалчивалась, терпела, уходила в другую комнату. Рысжан, хоть и была сдержанна и рассудительна, однако вначале ходила сама не своя, не зная, какую судьбу уготовило для нее будущее. А вскоре женщины незаметно потянулись

друг к другу, что-то им самим неведомое сблизило их, и они стали жить не как ревнивые соперницы, не поделившие одного мужчину, а как родные сестры.

Агабек был доволен дружбой своих жен и строго поочередно исполнял мужскую обязанность. Но о чем судачили жены наедине между собой, он не знал. Он жил одной надеждой. Ведь молодая еще Жанель, ничего удивительного, если она и в этот дом принесет счастье.

Их было два брата: Бабабек и Агабек. Единственный сын Бабабека — Абен, как уехал на фронт, так словно в воду канул. Это был единственный и последний потомок в роду Агабека. Его утешение, его гордость. Агабек крепко стоял на ногах, широко шагал по жизни, и только бездетность постоянно угнетала, удручала его. Сильный, самодовольный, упрямый, он внешне не подавал виду, не давал недругам повода для злорадства, но в душе тяжело переживал свою горе. С годами становилось все тоскливей. Неотвязчиво думая о наследнике, о необходимости продления рода, он жадно, как к единственному спасению, потянулся к Жанель...

Только что бушевавший, исходивший паром белый самовар теперь успокоился, остыл. В широкое окно яркими лучами било солнце, отражаясь, играя веселыми бликами на разноцветных одеялах, сложенных у стены, и на большом иранском ковре. Сегодня после снежной метели день выдался ясный: небо чистое, без единого облачка.

В комнате было удивительно тепло, тихо, уютно, Жанель отогрелась, мрачные думы развеялись, на щеках вновь проступил румянец. Она посмотрела в окно. Чистый, нетронутый снег ослепительно блестел под солнцем. Возле дома резвились дети, играли в снежки. Под окном в поисках пищи прыгали, нагло каркая, вороны.

— В наш дом пришло горе, — тихо проговорила вдруг Рысжан.

От неожиданности Жанель вздрогнула, испуганно повернулась к Рысжан, но та отвела глаза, пусто, бессмысленно глядя куда-то вдаль. Жилы на руке, в которой она держала чашку, набрякли. Горячий пар белесым облачком проплывал мимо ее лица. Она отпила глоток

медленно, дрожащей рукой поставила на скатерку чашку.

— Вчера почтальон принес... на Абена... похоронку...

— Боже, что вы говорите?!

Рысжан сощурила глаза, по-мужски потеряла широкий белый лоб. Голос ее дрогнул:

— Сама знаешь, у Бабабека не было детей, кроме Абена. Когда с Бабабеком случилась эта беда, жена его подалась к своей родне и больше о ней никто ничего не слышал. Время было такое. Утопающий, говорят, хватается за соломинку. Так и она, бедная, уцепилась, видно, за чей-то подол, замуж вышла. Абен хорошо учился, на него возлагались большие надежды, но его из-за отца исключили из... этого... енгжанерного инстута<sup>1</sup>. Тогда и Агабека таскали. Как-никак единокровный брат. Но потом оставили в покое. Он был активистом, работал, не покладая рук, числился на хорошем счету. Может, это и спасло его. Да-а...— Рысжан вздохнула, задумалась.— Абен тянулся всей душой к учебе. Изменил бедный мальчик свою фамилию, поехал в Москву, поступил в институт. Видно, в больших городах и справедливости больше. Никто там тревожить его не стал. Перед самой войной приезжал, такой длинноволосый, в аул на отдых... Эх... Кто знал, что мы тогда в последний раз его обнимали?!

Да, да... Жанель помнит, какая суматоха тогда поднялась в ауле. Все только и говорили о приехавшем из Москвы ученом племяннике баскармы. Агабек от радости ходил петухом, садил племянника на аргамака, сопровождал всюду. Всем было любопытно: какой же он, ученый человек, и Жанель тоже глазела на него. Абен, сидя на коне и улыбаясь, рассказывал о чем-то дяде. Было это на стане, девушки и молодые женщины откровенно таращили глаза на столичного гостя, а он вроде и не замечал их. Агабек, явно хорохорясь, хлопал племянника по спине, кивал головой, громко хохотал, важно восседая в седле...

Абен был высок, худощав, смугл. Ничего особенного во всем его облике Жанель не нашла. Нос с горбинкой, с тонкими ноздрями нависал над верхней губой. Глаза глубокие, бесцветные. Лицо худое, плоское, как говорится, кожа да кости. И весь он был какой-то усталый,

---

<sup>1</sup> Искаж. институт.



квелый. Тонкая шея, казалось, с трудом удерживала непомерно большую, тяжелую голову. На крутой лоб спадали жидкие рыжеватые волосы.

«Ойбай-ау, да где же у него скрывается ученость?! — удивлялась Жанель, пристально разглядывая джигита. — Да, он, верно, и ученый не бог весть какой. Самый небось обыкновенный городской прощелыга с папкой под мышкой».

Выходит, погиб бедный. Ах, горе, горе! Косит подлая война мужчин.

— Я помню его, апа. Видела... Такой молодой!

— Что и говорить, милая! Хороший был мальчик. Бог дал ему талант. На целую голову выше своих сверстников был. Говорят, какой-то большой русский ученый благоволил к нему, под крылом своим растил. Будто говорил этот русский, что со временем из Абена большой человек выйдет. Весь мир, дескать, его знать будет.

— Наш аульный мугалим<sup>1</sup> Куандык тоже всегда хвалил моего Нуртайжана. Говорил: способный, умный. Только отец умер, не смог учиться дальше. Такой маленький был, а длинные киссы<sup>2</sup> наизусть знал. Ах, злая судьба! Лишила его жизни, а меня, горемыку, — радости...

— Э, милая, война по всей земле горе сеет. Помню, отец-покойник всегда говаривал: войны, набеги, битвы веками нас преследуют. И до нас люди покоя не знали. Но каждого насильника, всякого злодея неизменно ждет возмездие... Что ж, будем ждать, когда придет тот час расплаты.

Рысжан умолкла, кончиком жаулыка вытерла слезы. Умная, чуткая, она всем сердцем чувствовала людские страдания на земле, перед которыми ее личные горести были ничто. У бездетной женщины была поистине добрая, отзывчивая, материнская душа. Ее слова о том, что каждого насильника-злодея ждет неминуемая кара, особенно запали в сердце Жанель. В них звучала неистребимая вера в справедливость, надежда, они придавали бодрость усталой, измученной душе, звали к действию. И раньше не раз приходилось Жанель слышать подоб-

---

<sup>1</sup> Мугалим — учитель.

<sup>2</sup> Кисса — эпическое сказание о древних батырах, иногда религиозного характера.

ные речи. Свекор Туякбай, бывало, пускался в долгие рассуждения об этом.

Жанель молчала, скованная печальной вестью, потом спросила:

— Агабек уже знает?

— Нет, ему еще ничего неизвестно. Вечером соберем стариков, они ему и сообщат. Весть эта ошеломит бедного. К тому же и с сердцем у него неладно. Уж больно крепко любил племянника...

Жанель поднялась, вынесла остывший самовар. Руки и ноги ее мелко-мелко дрожали.

## V

Как слег Агабек, так больше и не поднялся. Целыми днями, глухо постанывая, лежал он на перине. Горело все внутри, жгло огнем, мучила постоянная жажда, и пил, пил он холодную, с озера, воду, хватал зубами льдинки, плававшие на воде, со скрежетом жевал и проглатывал.

И раньше случались сердечные приступы, поэтому вначале никто особенно не беспокоился. До районного центра далеко, да и ехать зимой, в стужу и буран, за врачом было хлопотно.

Позвали ишана Аипа. Он между делом промышлял и знахарством. Гладкий, сытый, круглолицый, с холеной, подстриженной бородкой, ишан опустился на колени у постели больного, плотно закрыл глаза, пощупал здесь и там полные, мясистые руки Агабека.

— Ничего страшного, уважаемый баскарма. Небольшое расширение сердца. Бог даст, скоро поправитесь,— сказал он, чему-то усмехаясь.

«И чего он усмехается?»— подумала Жанель. Рысжан подала несколько красных бумажек, завернутых в платок. Ишан их ловко сунул во внутренний карман длинного пестрого чапана и благоговейно провел пальцами по лицу. Потом повернулся к Агабеку, убежденно добавил:

— Поправитесь, мурза. Аллах милостив.

При этом маленькие серые глазки ишана заблестели, как дождемки на солнце.

Ишан вышел. В продолговатой, плешивой голове его под высокой, не первой свежести чалмой роились слад-

кие мысли: «Ничего, недолго протянешь, безбожник. Отходную твою я читать буду. И вон та жирная ярочка на привязи, бог даст, мне достанется. Посмотрим, как оно бывает, читать отходную у изголовья нашандыка<sup>1</sup>. До сих пор как-то не приходилось все. Уа, поддержите меня, священные духи!..»

Агабек таял на глазах. Щеки запали, сытый блеск в глазах исчез. Еще недавно сильное, мощное тело обмякло, стало вялым, беспомощным. Не бывало случая, чтобы Агабек когда-нибудь поминал бога. А теперь наедине с ишаном Аипом пускался в длинные религиозные рассуждения, подолгу слушал молитвы, словно отрекаясь от суеты бренного мира.

— Ишке! Когда руки-ноги были здоровы и голова без печали, мы драли горло, что, дескать, бога нет. Да и других грехов у меня немало. Как можно искупить вину? Что говорится по этому поводу в священном писании?

— Молись усердней, мой мурза,— ворковал гладенький ишан.— Надо принести жертву во имя милосердного аллаха. Жертва облегчает самую тяжкую вину. В священной книге Калами-шариф сказано, что в судный час убийца-иноверец был спасен от мук ада только за то, что когда-то пожертвовал нищему половину поминальной лепешки. Уа! Разве есть такой грех, который нельзя искупить жертвой?!

Понимая, на что намекает дошлый ишан, Агабек с тоской думал про себя: если божий слуга не земле такой хапуга, то каков же сам всевышний?.. Но он глушил этот подстрекательский шепот дьявола, отгонял греховные мысли, старался думать о божьем, о святом, быть благочестивым.

Но все испортил сам ишан. Однажды он затеял такой разговор:

— Софы Аллаяр в одной своей молитве говорит, что если во имя аллаха пожертвовать белолобую скотинку с крутыми, как серп луны, рогами, то можно избавиться сразу же от всех грехов.

При этих словах глазки его жирно заблестели, и он с невинным видом начал перебирать четки.

Тут-то Агабека и прорвало. Дьявол-искуситель, при-

---

<sup>1</sup> Искаж. начальник.

таившийся в душе, наконец-то вырвался. Рассвирепев, заорал больной на ишана:

— Уай, пройдоха! Хрыч! Ишь, чего захотел. Сгинь с глаз моих вместе со своим Софы Аллаяром! Обо мне можешь не беспокоиться. И без тебя, без твоей помощи перед богом предстану...

И, задохнувшись, усталый, умолк. Беспомощно повел некогда сильными руками. Глубоко запавшие глаза с ненавистью смотрели на оробевшего ишана, будто насквозь пронзить его хотели. Казалось, если бы он был здоров и в силе, как прежде, вскочил бы сейчас, схватил благочестивого старикашку за шиворот да и потряс бы, чтоб душа поганая вон. Ишан Аип не на шутку растерялся.

— Господи, прости нечестивца... прости нечестивца,— пробормотал он и, дрожа кривыми ногами, засеменил к выходу.

Выйдя, он постоял за дверью, злорадно усмехнулся, дескать, кричи, кричи, все равно без меня не обойдешься, недолго уже осталось...

\* \* \*

Весть о гибели Абена подкосила Агабека. Рухнула единственная опора и надежда двух братьев, отсохла последняя ветвь их рода, а вместе с нею, словно старое, подгнившее дерево, рухнул и он. Острая душевная боль вызвала, возбудила все старые болезни, и Агабеку из дня в день становилось все хуже. Он знал: скоро погаснет для него белый свет. Впереди ожидал его вечный мрак, тлен, но он не боялся его. Лежал отрешенный, безразличный. Да-а... прошла она, лживая, беспокойная, бестолковая жизнь. Звенело в ушах, гудело в голове, будто весь мир был наполнен гулом. Порою он не слышал, не чувствовал того, что пока еще окружало его. Одно мучило, усугубляло боль: пестрые тени оставшейся где-то далеко суетливой жизни неотступно преследовали его. Мерещились видения, спутанные, навязчивые, знакомые и уродливые, словно в зыбком тумане. Иногда какие-то страшные существа хватили его за горло, топили в озере и, когда он уже задыхался, терял сознание, вновь выталкивали на божий свет.

Господи, а это еще кто такой? Почему не отпускает

руки? Щупает его жадными глазами. А, ишан Аип, что ли? Зол на то, что недавно выгнал из дому. А кто из врагов с таким наслаждением сверлит, колет сейчас его темя? О, горе, горе!

— А, это ты? Я знаю тебя! — пророкотал чей-то голос.

Кто это, ойбай? Откуда Агабеку знаком этот голос? Вон, вон, идет, приближается. Расступилась, разверзлась черная земля, и вышел ОН, закутанный в длинное, белое покрывало, неотвратно направляется к постели Агабека. А ОН ничуть не изменился, хотя и смотрит грозно, сурово.

— Ах, это ты? — пытается улыбнуться Агабек. — Как ты меня напугал своим рыком!

ОН молча и мрачно подходит к нему. Глаза горят, пронизывают насквозь. Идет, идет, идет... Никак не может дойти до постели, хотя и совсем рядом ОН, вот, рукой подать. Идет, плывет, словно лодка, в дрожащей мгле, и в глазах расплавленным свинцом застыла ненависть...

Агабек вздрагивает, просыпается. Со лба струится холодный пот, капает на подушку. Агабек не сразу приходит в себя, никак не может сообразить, явь это или сон. Он долго и бессмысленно смотрит в одну точку и тусклым голосом просит пить.

Рысжан ночи напролет сидит возле больного. Безнадежное, беспомощное состояние богом данного супруга, к которому всю жизнь была холодна, ее удручает. Больно ей видеть, как еще недавно отменно здоровый, крупнотелый Агабек сохнет на глазах, слабеет, и она нет-нет, да вытирает втихомолку непрошеные слезы, охваченная бабьей жалостью. Ей хочется откровенно, по душам поговорить, побеседовать с мужем, но он молчит, молчит упорно. Ни о своей загадочной болезни, ни о своих болях, терзаниях, ни о своих тайнах ни слова не говорит. Даже когда, приподнимаясь, пьет воду, ни на кого не смотрит. Вид у него такой отрешенный, что Рысжан с опаской думает: уж не тронулся ли, бедный, умом. Однако он вроде бы спокоен, и выражение лица, и глаза осмысленные. Время от времени он коротко бросает:

— Подай воды!

И непонятно, к кому обращается при этом.

Когда ненадолго отлучалась Рысжан, к больному подсаживалась Жанель, втайне надеясь, что, может, хоть

ей он наедине что-нибудь скажет. Нет, Агабек и с ней молчит. Переступая с ноги на ногу, она неуверенно спрашивает:

— Может, вызвать все-таки доктора из района?...

— Ни к чему! — резко бросает он.

С того дня, как Агабек занемог, Жанель находилась в странном состоянии. Неузнаваемо изменившийся, желтый, высохший, как скелет, мужчина, возлежавший на высоких подушках, казался ей не Агабеком, а кем-то чужим и даже неприятным. Агабека она любила всегда, всем сердцем. А этого человека она боялась и ненавидела. Откуда это неблагоприятное, двуличное чувство, это предательство, она и сама не понимала.

С тех пор, как слег Агабек, она снова стала работать, строила вместе с другими колхозниками скотный двор. Правда, какое зимой строительство? Просто избегала быть рядом с больным...

\* \* \*

Вечерело. В комнатах было сумрачно, но лампу еще не зажигали. Жанель хлопотала у казана. Рысжан по обыкновению не спеша пила перед вечерней едой чай. Изредка она прислушивалась, бросала тревожные взгляды в сторону боковой комнаты, но там было тихо. Видно успокоился Агабек, задремал, забылся.

Резко рванув дверь, вбежала, как всегда, заполошенная Айзат. Вместе с ней хлынуло в переднюю густое, клубящееся облако морозного пара. Айзат встала у порога, держа обеими руками пухлый портфель.

— Ой, как темно! Апа, что же вы сидите без света?!

Подкладывая в печь кривые сучья, Жанель сделала предупредительный знак рукой.

— Тише!.. Не кричи. Дядя твой уснул. И прикрой лучше дверь. Что стоишь, как пень?!

Айзат называла Агабека дядей. Она теперь не выказывала ни любви, ни ненависти к отчиму, старалась прежде всего не обижать мать.

Швырнув в угол набитый книгами портфель, подскочила к матери, кинулась ей на шею, начала торопливо шептать на ухо какие-то свои тайны и тонко, заливисто рассмеялась.

За занавеской скрипнула кровать, послышался непривычно бодрый, с хрипотцой, голос Агабека:

— Айзатжан, что ли, пришла? Иди ко мне, шалунья. Все, все идите сюда...

Рысжан отставила чашку, живо убрала дастархан, крикнула мужу:

— Сейчас, сейчас. Вот лампу только зажгу.

У Айзат глаза сделались круглыми. Она с тревогой посмотрела на мать, Жанель — на Рысжан, а та промолчала. Только закинула за плечо длинный конец жаулыка и подала знак следовать за ней.

Вслед за Рысжан, очень робко, смущаясь, вошла в комнату больного и Жанель с дочерью. Айзат, едва переступив порог, испуганно задрожала вся, словно увидала какое-то чудовище, и застыла у двери, держась одной рукой за косяк. Никакими силами нельзя было сейчас сдвинуть ее с места. Просторная, сумрачная комната, в которой тускло мерцала семилинейная керосиновая лампа, высокая кровать в правом углу, таинственная тишина вокруг — все это чудилось девочке логовом страха и ужаса. К тому же она слышала, что ее дядя Агабек бредит иногда ночами.

Агабек повернулся на бок, подложил под локоть большую пуховую подушку, с непривычной теплотой в глазах оглядел их.

— Подойдите ближе. Присаживайтесь.

Рысжан села на кровать у его ног, вскинула брови, спросила со слабой надеждой:

— Сегодня тебе вроде бы лучше?

— Слава богу, — пошевелил он губами и, посмотрев на Айзат, стоявшую у порога, поднял дрожащую руку. — Подойди, доченька. Садись рядом с апа. Я хочу вам что-то сказать...

Но и теперь Айзат не шелохнулась. Жанель недовольно пробурчала:

— Ну сколько тебя можно упрашивать?! Садись, коли говорят.

Айзат упорно продолжала стоять. Зная ее упрямство, Агабек слабо махнул рукой.

— Ну, ладно. Пусть... — Он вдруг тяжело задышал, заговорил быстрее. — Айзат, доченька, тебе я это рассказываю...

Айзат вздрогнула. Побледнела и Жанель, переглянулась с Рысжан, как бы спрашивая: «О чем это он?» Но

та, видно, тоже была удивлена, однако, не подавая вида, придвинулась к мужу.

— Хочу вам поведать тайну одну, чтобы не забрать ее с собой в могилу... Хотя и страшно, а выслушай меня, доченька. С твоим отцом, Бекболом, мы были неразлучные друзья. Клятву когда-то дали в вечной дружбе. Все делили поровну в жизни: и радость, и горе. Да что там говорить?! Всем делились, ели-пили, росли-резвились вместе. А молодость — веселый базар жизни — провели дружно, рука об руку. На гулянки ходили вместе... И вот, когда в аулах стали организовывать колхозы, мы с Бекболом впервые схлестнулись. Дружба обернулась враждой. Бекбол как собак ненавидел всех богатеев, мстил им и при этом не знал ни жалости, ни пощады. На противников замахивался камчой, а то и ружьем угрожал. «Я, — орал он, — раздую классовый пожар!» Раньше, когда мы дружили, совсем не таким был. Теперь словно подменили его, будто бес в него вселился. Никому спуска не давал. Много горя он землякам своим принес. Я был председателем колхоза, он — председателем аулсовета. Он ругал меня за «правый уклон», я его — как левого перегибщика. Кончилось тем, что мы стали непримиримыми врагами...

Все это Агабек рассказал быстро, без пауз, а потом запнулся, задышал тяжело, задумался. Молчали и женщины. Ждали, что же будет дальше. Зачем понадобился Агабеку этот разговор? Только Жанель с испугом, с каким-то смутным подозрением поглядывала на него.

Агабек поправил подушку, лег на спину и вновь заговорил. Должно быть, устал: голос прозвучал слабо, хрипло.

— Вот тут и попутал меня дьявол... Поддался вражьему наговору, пошел на злодеяние, на которое и бешеный волк не способен. Не мог я больше терпеть измывательства и унижений Бекбола над народом...

Агабек не успел закончить.

— Что-о?! Что ты говоришь?! — вскочила, как подброшенная, Жанель. Волосы ее разлохматились, глаза дико блуждали. — Как... Как ты мог?!

Услышав пронзительный крик матери, увидев ее страшно побелевшее лицо, Айзат, ничего не понимая, закрыла ладонями глаза, прислонилась, чтобы не упасть,



к косяку. Перед ее глазами поплыли, как в тумане, разноцветные круги...

А Жанель подскочила к Агабеку, в ужасе замахала перед ним руками, закричала, дико выкатив глаза:

— Это ты... ты... ты отравил его! А?!

Агабек весь затрясся и, приподнявшись, бросил ей в лицо:

— Да! Я!! Ну, убей... задуши собственными руками!!

Жанель распустила волосы, дернулась как-то странно, хватая ртом воздух, и осела без чувств у изголовья кровати. Рысжан подхватила ее и поволокла в переднюю.

Айзат окаменела. До нее, словно издалека, доносился надсадный, сиплый голос Агабека.

— Айзат, доченька, прости меня, а?.. Прости убийцу отца твоего...

Что? Что он говорит? «Прости убийцу?..» Выходит, это он, он, вот этот страшный человек убил ее отца. Изверг, изверг..!

Айзат открыла глаза. В правом углу, на высокой кровати лежал тощий, изжелта-бледный человек. Нет, не человек — чудовище. От него шел запах мертвечины. Ой! Не сон ли это?.. Нет. Вот опять послышался противный хрип:

— Ну, прости же, доченька...

— Нет! Нет!!

С громким воплем выскочила Айзат в переднюю.

\* \* \*

Один остался Агабек. В этом мире нет более страшного наказания, чем одиночество. Обрекая смертного на одиночество, жизнь обычно мстит за все проступки, за все злодеяния, совершенные им. Одиночество терзает, унижает, медленно, мучительно убивает. Оно как наказание, как возмездие.

Самым страшным было то, что сломленный болезнью Агабек был, однако, в совершенно здравом уме, сознание оставалось ясным. Уж лучше бы он свихнулся. Тогда, может, не терзался бы так, не мучился. А то лезет в голову всякое, изматывает усталое сердце.

Вот девочка Айзат — плоть Бекбола, его живая память. Сейчас он и ей сказал неправду. Все ложь!.. Надо признаться: даже перед смертью не хватило мужества сказать все, как было. Он хотел все грехи свои свалить

на Бекбола, очернить его перед родной дочерью и тем самым обелить себя в глазах девочки, вымолить прощение, искупить вину.

А зачем ему, собственно, прощение? К чему искупление? Умершему не все ли равно? Так подсказывает трезвый рассудок, да только сердце не хочет прислушиваться к его голосу. Да и от страха перед неведомым не уйдешь. А что, если впереди все же не мрак, не тлен, а иная жизнь, иной мир, о котором назойливо твердит ишан Аип, и где на весах справедливости точно взвешивают добро и зло? Как тогда быть?..

Человек с рождения ищет счастья. Агабек — лишь один из многих его искателей. Только он пошел напрямик, напролом, хотел подстеречь, заарканить неуловимое счастье на большой дороге. Это, оказывается, неверный, скользкий путь. Он лежит далеко в стороне от дороги справедливости, чести и истины. На этом пути люди не знают жалости и друг-другу дороги не уступают. Так себя вел и Агабек.

И пусть Бекбол пеняет на себя, если он постоянно оказывался на его пути. Ну, конечно, неправда это, напраслина, что он, якобы, принес землякам много горя. По правде говоря, это ему, Агабеку, Бекбол ни в чем не давал спуска. Тесно стало им на одной дороге, как говорится, две бараньи головы в один котел не поместишь. Агабек, чего скрывать, не ради колхоза гнул хребтину. Вся сила, изворотливость, ум были, первым долгом, нацелены на личную корысть. И на честь колхоза смотрел всегда и прежде всего с высоты своей личной чести. Разумелся, на собраниях речи говорил совсем иные, очень правильные.

Бекбол же по самой природе своей был совсем другим. Сын бедняка и сам бедняк, он с головой ушел в советскую работу, и себя не щадил, и земляков все тормозил, торопил к равенству, к изобилию, к светлой доле. Агабек тоже не был балованным байским сыном. Однако от забот и хлопот толпы старался держаться подалше.

Не сразу Агабек поднял на Бекбола руку. Сначала градом обрушил на его голову разные кляузы, анонимки. По навету Бекбол даже отсидел месяц-другой. И все же он каждый раз вырывался из цепких когтей уготованной ему Агабеком судьбы.

Так хоть бы уgomонился, жил бы тихо-мирно. Какой там, шагу ступить Агабеку не давал. Постоянно колом глаза своей назойливой правдой, горячася при этом и нажимая на горло. Давно уже пришел конец былой их дружбе. И про клятву юношескую забыли. А в то, что не за поруганную честь, не за осквернение супружеского ложа мстит Бекбол, Агабек убеждался не раз.

Ни лестью, ни хитростью нельзя было подкупить упрямого Бекбола. Во время конфискации баев он уличил Агабека в присвоении нескольких голов конфискованного скота, и едва не выслал вместе с баями.

Обо всем этом Агабек однажды намеками поведал брату, приезжавшему из столицы в командировку. На правах единокровного брата просил, умолял любым способом избавить от красноглазой напасти по имени Бекбол. В больших и малых аульных стычках Агабек постоянно хорохорился, грозился, размахивал именем работавшего в наркомате старшего брата, словно дубиной. Однако в делах и настоящей жизни Бабабека, в поисках учебы рано уехавшего из дома, он был несведущ. Даже после стольких лет разлуки братья ни разу не поговорили по душам, не поделились своими тайнами. Молчалив, суров, замкнут от природы был Бабабек. Тогда ему было только за сорок, но на вид он казался значительно старше; лицо избороздили глубокие морщины, на голове почти не осталось волос.

Выслушав рассказ о Бекболе, Бабабек нахмурился, недовольно, даже с презрением глянул на младшего брата:

— Ты что тут мелешь?! Радоваться нужно, что есть такие деловые, решительные, преданные нашему общему делу джигиты. Тебе следует с такими рука об руку строить новую жизнь. Ведь такие, как Бекбол, всем сердцем приняли наш строй, с чистой совестью пришли в нашу партию и именно на таких держится Советская власть.

В больших, немного навекате глазах Бабабека сверкнули гневные искорки.

Промолчал тогда Агабек, будто в глотке застрял камень. Однако не стыд, не досаду испытывал перед старшим братом, умудренным жизнью, а, наоборот, с внутренним превосходством усмехнулся про себя: «Ученый, знаменитый человек, а такую, прости господи, чушь

говорит. Эх, дали бы грамоту Бабабека мне, я бы не в Алма-Ате, а в самой Москве давно сидел».

Агабек всегда считал, что на одной честности далеко не уедешь. Этак и к старости никуда не доберешься. В справедливости этой своей «философии» Агабек окончательно убедился позже, когда был оклеветан, ошельмован Бабабек. Нет, нет, сам Агабек никому не был врагом. Он враждовал лишь с теми, кто стоял поперек его дороги. Потому что не желал упускать своей доли. Не хотел оставаться в дураках.

Вот так и жил Агабек. Однако, если подумать, счастливым не был. Страх и сомнения постоянно терзали его. Да к тому же и радости отцовства был лишен.

Какая бессмысленная, лживая, полная мытарств и суеты жизни! Какое уж там счастье, когда он обыкновенной забавы, утешения для души не находил. Жанель... Просто одна из многих, возбуждавших его мужскую страсть. Наверное, он и любви-то настоящей не знал. Рысжан... Да-а, она, пожалуй, единственная божья душа, с которой он считался, которую искренне уважал и, бывало, даже побаивался. Несправедливо обиженная судьбой, она обладала трезвым умом, завидной волей и характером. Двадцать лет тянули они супружескую лямку, а признаться, он не всегда понимал ее, не знал, какие тайны схоронены в ее душе. Когда он заболел, Рысжан будто подменили; сердцем, что ли, к нему потеплела, не раз порывалась открыться перед ним. Но он уклонялся от каких-либо душевспасительных бесед. К чему это? Зачем? Хоть одну тайну — хорошую или плохую — он забрет с собой в могилу.

Да-а... люди ищут счастье. И в своих поисках сталкиваются на узкой, шипами да колючками усеянной тропинке жизни. Нет, не всегда уступают они друг другу дорогу, чаще всего сходятся в схватке. Бекбол и Жанель тоже шли к счастью, но поперек их дороги встал он. Ведь и Агабек стремился к нему...

\* \* \*

Спустя два дня всем аулом проводили Агабека в последний путь. Ишан Аип дождался-таки своего часа. На особый манер растягивая арабские слова, прогнусавил у изголовья покойника поминальную молитву...

И только старый Туякбай не пришел на похороны.



РАССКАЗЫ

## СПИ СПОКОЙНО, РЕВИЗОР!

Ревизора районного финансового отдела Каугабаева шеф пригласил к себе в кабинет и без всяких обиняков завел странный разговор.

— Баеке, пока, как говорится, тишь да благодать, может, вы честь по чести уйдете на пенсию?— Шеф хрипло откашлялся, будто ему невзначай сдавили горло, и повел кадыком. Так он обычно делал, когда предстоящая беседа не доставляла ему особенного удовольствия.— Слава богу, времена настали не голодные, не холодные. Проживете не хуже других, не так ли? Да и ученый сынок, что в Алма-Ате, при необходимости родителю подсобит. К чему вам на старости лет нервишки трепать?! Мы вас, так сказать, всем коллективом... в торжественной обстановке отправим на почетный и заслуженный отдых.

От неожиданности Каугабаев растерялся. Поерзал, не зная, что ответить, под ноги себе посмотрел. Потом невинно промямлил:

— Однако... это... я ведь до пенсии... не дорос.

— Как это «не дорос»? Сколько вам сейчас?

— Пятьдесят восемь и то только осенью стукнет.

— Два годика, что ли, не хватает?.. Чепуха! И говорить, Баеке, о том не стоит. Это мы уладим в два счета. Ну, скажем, в Великой Отечественной участвовали? Участвовали! Под Курском вас ранило? Да! Ногу фашистам оставили? Оставили! Теперь...

— Ну, нога-то, положим, при мне,— усмехнулся

Каугабаев. Ему было приятно вспоминать боевые годы. О храброй фронтовой юности, бывало, он и сам рассказывал разные были-небылицы. Видно, кое-что и до шефа дошло.— Только пятаку осколком... это... малость срезало...

— Какая разница? Главное: урон понесли, нога короче. Следовательно, вы самый настоящий инвалид Отечественной войны!

— Но документа ведь нет...

— Невелика беда, Баеке. Не было, так будет! Или не знаете, какую заботу проявляют сейчас партия и правительство о славных ветеранах войны? Надо пользоваться моментом. В каком, кстати, вы были звании?

— Старший сержант.

— Вот, вот! Не простой, выходит, вояка. И пенсию, аллах свидетель, назначат немалую... В среду в райбольнице комиссия. С заведующим райсобесом я уже все обговорил. Если ВТЭК признает вас инвалидом, мигом организует пенсию. Так что, Баеке, все складывается весьма удачно.

— Что же делать?

— Напишите заявление и идите в райсобес. Там скажут, какие нужны документы.

Каугабаев опять уныло уставился себе под ноги. Шеф забеспокоился. В душе он сознавал, что нелегко ему будет осуществить задуманный план во всех деталях. Каугабаев — работник тихий, незаметный, робкий. О таких казахи говорят: «Клок сена у овцы не отнимет». Но в последнее время он стал что-то больно ретив, и именно это тревожило начальника. Точно подменили ревизора. По угрюмой гримасе на аскетически худом лице можно было заключить, что сговориться с ним не удастся. Интересно, кто его подстрекает? Или по собственной инициативе артачится?! Из-за таких вот недоумков у начальства голова прежде времени седеет. Что ж... кажется, пора расстаться с товарищем Каугабаевым. Правда, в этом районе он один из старейших финансовых работников, и ревизором, пожалуй, уже лет пятнадцать. Дело свое знает, взысканий не имел, благодарностей — полная книжка. Ну, да что из этого, если расставание необходимо? Значит, как говорят старики, так на роду товарища Каугабаева написано. Опять-таки и причин для расстройства нет. Пороха у Каугабаева хватит не-

надолго, а старому человеку, кроме тишины и покоя, что еще нужно? Лежи себе дома, получай пенсию и радуйся жизни...

Так рассуждал шеф. А его подчиненный рассуждал иначе. И вовсе не потому, что был против всякого начальства. Ведь в конечном счете начальники — такие же грешные люди, как все. И тоже разные. За свою долгую службу Баймен повидал справедливых и честных, строгих и добрых, спесивых и кичливых. Баймену сейчас просто не хотелось быть послушной игрушкой в руках своего начальника. Но будучи от природы кротким и стеснительным, не мог сказать об этом прямо. А шеф тем временем нажимал все настойчивей, и ревизор, наконец, угрюмо произнес:

— В этот... райсобес я все же не пойду!

— Это еще почему?! — возмущился шеф.

— А потому, дорогой, что на пенсию уходить пока не желаю. Года еще не вышли, а прикидываться калекой и обивать чужие пороги охоты нет! Как-нибудь еще поработаю. К тому же и ревизию в «Красном караване» не закончил. Уж коли начал, надо довести дело до конца.

— Ревизию могли бы закончить и без вас. Кадры, слава богу, есть. — Голос шефа обретал все более жесткую тональность. — И чего вы так в «Красный караван» вкогтились? На преступление века, что ли, напали?!

— Ревизия покажет. Боюсь, там действительно не все ладно... Помните, я вас и раньше предупреждал?

— Может, и говорили, только не помню... А ладно там или неладно — это мы еще посмотрим. Дело не в этом...

— А в чем?.. В том, чтобы я шел на пенсию?!

Шеф удивленно вскинул брови. Такой дерзости он от своего работника не ожидал. Шеф намурился, но, сдерживая досаду, примирительно сказал:

— Ай, Баеке, чего вы пенсии-то испугались? Ведь и мы состаримся, и нас рано или поздно ждет такая же судьба...

Ревизор не дал договорить. Побледнев и вскочив с места, он сорвался в крик.

— А вот и не уйду! Прин-ци-пи-ально!.. Не заставите!.. Я вам что, поперек горла встал?!

Шеф удивленно заморгал, заикаться начал.

— Оу, Баеке, ч... ч... что это вы... пси-психуете?.. Мы



ведь, так сказать, вам навстречу... — Он быстро овладел собой и насупился. — Ведите себя прилично, товарищи Каугабаев! Не забывайте, где находитесь... Почему кричите? Кому угрожаете, а?!

— Не уйду! И весь мой сказ!

Каугабаев, вконец расстроенный, выскочил из кабинета.

Несколько часов спустя шеф, успокоившись и приняв благодушный вид, приказал секретарше вызвать Каугабаева, но ревизор, оказалось, срочно выехал в совхоз «Красный караван».

\* \* \*

Работа предстояла кропотливая. Вместе с главным бухгалтером совхоза он скрупулезно просматривал все отчеты, наряды, ведомости за последние три года. Наметанный глаз ревизора с самого начала заметил, что в расчетных документах управляющего центральным отделением совхоза Дуйсекова далеко не все в порядке. Судя по всему, он не ошибся. Ревизор вовсе не задавался целью непременно разоблачить все большие и малые грехи управляющего, и ревизия закончилась бы более или менее благополучно, но Дуйсеков сам навлек на себя беду, наступив, как говорится, на хвост спокойно дремавшей змеи. В первый же день, когда Каугабаев приехал в совхоз для проведения очередной ревизии, управляющий зашел к нему в гостиницу.

— Баеке,— заговорил он елеиным голосом.— Волей аллаха прибыли вы в наш аул, и мы, конечно, польщены. Казахи говорят: «В первый день — встреча, на второй — знакомство». Люди мы не чужие, корнями уходим к единым славным предкам. Милости просим, не откажите, посетите наш дом, будьте гостем. Отведайте угощения снохи вашей...

Что тут скажешь? Речи разумные, вежливые. И что из того, что он, Каугабаев,— ревизор, ведь нарушать традиции гостеприимства никому не пристало. С какой стати будет он нос задирать перед Дуйсековым? Управляющий в прошлом году получил в своем отделении по сорок центнеров риса с гектара и прогремел на всю область. Его уважают, с ним и районное начальство считается. И вдруг он собственной персоной умоляет его, не-

заметного районного ревизора, прийти в гости, отведать угощения! Отказаться — просто неприлично, невежливо.

Приезжая по долгу службы в совхозы, ревизор старался не давать повода для разных кривотолков и обычно воздерживался от хождений по гостям, хотя, как водится, в приглашениях недостатка не было. Но на этот раз он отступил от заведенного правила. Отступил — и горько пожалел. Потому что вышло все очень скверно, гадко. И сейчас еще, вспоминая тот злосчастный вечер, Қауғабаев сгорал от стыда...

Жил управляющий, конечно, в достатке. Дастархан был завален яствами и бутылками. Обычно в честь гостя в аулах принято приглашать близких и соседей. Дуйсеков поступил, однако, наоборот. Он даже своих детей — целый выводок! — выгнал на улицу, чтобы не мозолили глаза гостю, и вместе с женой — гладкой, вышколенной бабой, принялся усердно потчевать ревизора. Қауғабаев опешил от всего этого благолепия, такой чести он на своем веку удостаивался впервые, и, приятно польщенный, сам не заметил, как хватил лишку...

Вначале, как это обычно бывает, он бодро приосанился, озираясь по сторонам, но вскоре его стали одолевать тягостные думы. Да-а... товарищ управляющий и в самом деле живет припеваючи. Роскошно живет! Чего стоит один пятикомнатный дом под шифером! А что в этом доме?! Полная чаша! Полированный заморский гарнитур; пол сплошь устлан ворсистыми московскими паласами; над головой гостя тяжело свисает, радужно переливаясь, хрустальная люстра стоимостью (уж финансовые работники это знают точно!) в полторы тысячи рублей. Телевизор, радиолa, холодильник, громадные драгоценные вазы... — глаза разбегаются. А ведь все это только в одной гостиной. А что в других? И там небось ковер на ковре!..

Острая зависть вдруг шевельнулась в хилой груди Қауғабаева. Да каким образом этот рябой верзила с маленькими заплывшими глазками нажил столько добра?! Ну, допустим, заработок немалый, премии разные, однако семья-то какая у управляющего, небось ртов семь-восемь. Попробуй, прокорми такую ораву! Тем более, когда один лямку тянешь... Ревизор мгновенно прикинул (считать-то, слава богу, наловчился!) доходы и расходы хо-

зяина и про себя решил, что живет тот явно не по карману. Но, возможно, у Дуйсекова много личного скота? В непроходимых тугаях Сырдарьи можно целые табуны упрятать. В этих краях встречаются ловкачи, умело скрывающие свой скот.

Как-то ревизор вместе с комиссией народного контроля напал на след таких проходимцев и выявил огромное стадо крупного рогатого скота, незаприходованного аулсоветом. Пришлось стадо отправить в заготскот. Ловкачи, однако, отделались легким испугом, и даже деньги получили сполна...

Эхе... умеют люди жить! Даже посуда сплошь позолоченная, посеребренная. А чем может похвалиться потомок Каугабая, надрывавшийся всю жизнь? Осмеливался ли он хоть разок покутить-пошиковать, деньгами посорить? Никогда! Правда, одет, обут, сыт. Вдвоем со старухой худо-бедно коротают свой век. Много ли двоим надо? Живут в уютном казенном домике. В садике десятка два фруктовых деревьев, во дворе индюшки бродят... Вот и все хозяйство. И оно его всегда вполне устраивало. А в последнее время что-то скребет душу Каугабаева. Все чаще с какой-то непонятной тревогой думая о том, что ему скоро исполнится шестьдесят, он начинал невольно сравнивать, сопоставлять себя с другими — чего достиг, чего добился. Стал нетерпелив, ворчлив; раздражался по всякому поводу; срывал зло на тихой, безответной старухе, которая и без того в присутствии мужа ходила на цыпочках. «Что с тобой творится? Уж не джины ли в тебя поселились», — спросила она как-то неосторожно и тут же пожалела об этом. Старик так сверкнул глазами, что у нее сердце замерло. И вот теперь здесь, в гостях у услужливого Дуйсекова, в нем вдруг опять пробудилось раздражение.

— Берите, берите, — все ворковал-прибарматывал радушный хозяин, а гость воспаленными, красными от хмеля глазами недобро покосился на него.

— Эй, ты что? Может, еще силком в глотку мне пихать будешь? Или, думаешь, голодный?..

— Да нет... что вы... я просто... это... угощаю.

— Угощаешь — ну и ладно! Сам знаю, сколько мне есть-пить... Не обжора.

— Бог с вами, Баекел! О чем вы говорите?..

— А что слышал. — Ревизор, казалось, напрашивался

на скандал.— Ты, Дуйсеков, не задирайся. Конечно, не все такие, как ты, богачи и крохоборы, но...

Управляющий сообразил, что улестить гостя теперь не удастся, однако принял смиренный вид.

— Какой там богач? Живем как все. По заслугам и государство дает, и бог дает...

— Заладил «бог», «бог»!.. Бог тебе, Дуйсеков, ни черта не дает... понял?!

— Ну, конечно, Баеке, никакой я не богомольный. Просто так, к слову пришлось...

— Не крути, дорогой... Скажи-ка прямо: с чего это ты вдруг сегодня добрый такой стал и меня в гости пригласил, а?

— Баеке, вы, кажется, несколько того... Пожалуйста, закусывайте.

— Оставь... Ты сначала ответы!

— Можно и ответить. Конечно, хотелось, как говорится, ближе познакомиться с вами...— Дуйсеков решил сказать правду или почти правду и осторожно прибрать к рукам нужного гостя.— Дружба с хорошими людьми всегда благо. Как это?.. «Человек человеку — друг, товарищ, брат». Так, что ли? Сегодня вы мне, завтра — я вам...

— Не приведи аллах, чтобы мне что-нибудь от тебя понадобилось! — отрезал гость.

— Не зарекайтесь. Казахи говорят: «Даже с кем не ищешь встречи — встретишься трижды».

— Да ты, Дуйсеков, сплошь пословицами шпаришь. Где ты их только набрался?

— Я, Баеке, до того, как стал управляющим, лет десять литературу преподавал...

— Вон оно что! Выходит, разочаровался в литературе?!

— Чего скрывать, место учителя — не хлебное. Живешь от зарплаты до зарплаты...

— А теперь нажрался?..

— Слава богу, заработок неплохой. Совхоз — сами знаете — гремит. Да и вообще теперь люди живут в достатке.

— Не заговаривай мне зубы, Дуйсеков. Агитацию при себе оставь. Я тоже газеты читаю...

Долго крепился хозяин, а все же не выдержал — оскорбился. Да и как не оскорбиться, когда тщедушный

ревизориска, который и пить-то толком не умеет, откровенно задевает твою честь?! А что сделаешь? Не от хорошей жизни привел он Каугабаева в свой дом. Чего скрывать, был расчетец вполне определенный. Когда узнал, что именно Каугабаев будет проводить ревизию, сердце его екнуло. Слышал управляющий от дружков-приятелей: старый ревизор привередлив, ершист, все насквозь видит и, самое главное, несговорчив. Не знаешь, с какого бока к нему подступиться. А он, Дуйсеков, как-никак управляющий отделением, в его руках и власть, и немалые материальные блага... Разумеется, святым он считать себя не может. Ну, опытен, изворотлив, на мякине его не проведешь, и все же беспокойно на душе, грызут-подтачивают сомнения. Что там на уме старика-хитреца — аллах знает. На всякий случай подмазать не мешает. Кому охота терять жирный кус? Хуже нет, когда тебе от кого-то что-то надо. Ишь, как развалился и прикрикивает, словно к родному отцу в гости пожаловал. А ведь напрасно грозит, страху нагоняет. Документы, слава богу, в порядке. План из года в год перевыполняется. Друзья, благодетели не перевелись. Что он может, районный ревизор?

— Мы, Баеке, не на собрании ведь сидим, — повысил голос хозяин. — Чего вы все тычете — Дуйсеков да Дуйсеков. У меня же имя, отцом данное, есть. Мадибек.

— Ах, Мадибек?.. Хорошо, будь Мадибеком, — легко согласился Каугабаев. — И все равно ты мне не нравишься, Ма-ди-бек. Понял?

— Э, в чем моя вина?

— Пока ни в чем. Но потом...

— Что же «потом», почтенный?

— Потом? — грозно переспросил гость и, махнув рукой, вскочил. — Потом будет... потоп!

Хозяин понял, что дальнейший разговор к добру не приведет, и подал жене знак стелить постель.

Так Каугабаев поневоле и заночевал в доме управляющего. А утром, проснувшись чуть свет, скорее ушел в гостиницу, даже чаю не дождался. К обеду опять зашел к нему управляющий, повел речь о том, о сем, словно ничего и не случилось, но ревизор насупился, замкнулся.

Не прошло и двух дней, как ревизора срочно вызвали в район. Шеф точно нож к горлу приставил: «Уйдите на пенсию!» И ревизор догадался: Дуйсеков начал действо-

вать, это он поднял на ноги своих благодетелей в районе. Видно, неспроста встревожился. Ревизия ведь только-только началась... Правда, некоторые документы, подписанные управляющим, сразу вызвали у ревизора подозрения, и он об этом откровенно поговорил с главным бухгалтером совхоза. А тот, видно, шепнул Дуйсекову. Иначе с чего бы вдруг управляющий вздыбился и кинулся за помощью в район? Видать, хорош гусь — этот Дуйсеков! Кочка на ровном месте! Где это видано, чтобы заслуженных, почетных работников вдруг ни с того, ни с сего выпроваживали на пенсию?! Помнится, поговаривали о каких-то родственных связях между его шефом и управляющим отделением совхоза «Красный караван». И все же поразительно, с какой легкостью и наивностью решили они отделаться от строптивого ревизора! За кого они принимают Каугабаева? Неужто он так жалок, беспомощен? Как бы не так! Придется, пожалуй, братцы милые, схлестнуться! Не зря Дуйсеков по району шастает. Знает, что рыльце в пушку. Значит, нужно порыться в документах. Может кое-что и прояснится...

Главный бухгалтер совхоза сидел, нахохлившись, рядом.

— Представьте, пожалуйста, все наряды, составленные Дуйсековым.

— За какой месяц? — встрепнулся бухгалтер.

— При чем тут месяц?! Мы же проверяем документацию за последние три года. Или товарищ Дуйсеков проверке не подлежит?

— Ну, почему же?.. Перед законом мы все равны. Просто я подумал, что нет смысла копаться в старых бумагах, тем более, что ревизия была и в прошлом году.

— Ничего. Времени у меня много, — язвительно заметил ревизор. — Собираюсь на пенсию; торопиться некуда. И вам советую не торопиться.

— Воля ваша...

Бухгалтер, явно недовольный, нажал кнопку звонка. Вошла сухопарая, как жердина, чернолицая, коротко стриженная девица.

— Милая, принеси-ка все расчетные документы по центральному отделению за последние три года.

Девица вскоре вернулась, вывалила на стол главбуха кипу папок, и ревизор принялся, не торопясь, пресмат-

ривать каждую бумажку. Делопроизводство было поставлено в совхозе неплохо: все документы аккуратно подшиты, разложены по папкам,— ни пылинки, ни соринки. И к нарядам, подписанным управляющим, с первого взгляда нельзя было придраться. Ясно, что их составлял и закрывал Дуйсеков самолично. Но в отделении есть еще и бригадир, и счетовод. Их подписи тоже красовались под каждым документом. Вот, к примеру, наряд, составленный на сорок рабочих. Указан вид и объем работы, проставлены расценки. Все как положено. А вот список пятнадцати сезонных рабочих, приглашенных осенью из города. Их труд вроде тоже оплачен законно. Та-ак... Дальше. Еще один наряд. Здесь перечислены точь-в-точь те же сорок фамилий, что и в первом списке. Правильно... Э, нет, подожди, ничего не правильно! Оба наряда составлены в октябре, а работа — разная. Что же получается? Выходит, одни и те же люди в течение месяца работали одновременно на двух объектах, выполняли разную работу и два раза получали зарплату? Э, нет, товарищ Дуйсеков, такое дело не пройдет. Каугабаева, всю жизнь, считай, прощелкавшего на счетах, на таком «фокусе» не проведешь! А ну-ка посчитаем, сколько прикарманено государственных средств. Ого! Около двух тысяч! Неплохо для одного раза! Пожалуй, целую семью можно год кормить... То-то же, чуяла душа липу...

— Взгляните, пожалуйста,— ревизор ткнул пальцем в сомнительные наряды, и главбух, едва посмотрев, вспыхнул до ушей.

— Апырай, а? Кто бы мог подумать? Передовик производства, один из руководителей совхоза, ай-ай-ай...

— Может, Дуйсеков тут ни при чем? Бригадир и счетовод — люди надежные?

— Я бы не стал за них ручаться. Но без Мадибека они ни-ни... Апырай, надо же! Никому, выходит, верить нельзя...

— Пригласите Дуйсекова. Послушаем, что он скажет.

Управляющего разыскали лишь к обеду. Весь в пыли, в кирзовых сапогах, в помятом засаленном треухе, шумный и раздраженный, он ввалился в кабинет.

— Тут высморкаться некогда, а эти еще срочные вызовы придумали!..

Словно не замечая сидевшего ближе к двери ревизора, он направился к главному бухгалтеру, подчеркнуто небрежно протянул руку.

— Да вот Баеке пришел... Пришлось потревожить,— виновато проговорил главбух. Управляющий круто повернулся всем своим массивным телом и преобразился, просиял лицом, будто неожиданно увидел самого близкого друга.

— О, ассалаумагалейкум, почтенный. Это, оказывается, вы, наш Баеке. А я-то думал...

Баймен, не поднимая головы, через силу чуть пошевелил губами.

Управляющий сразу смекнул: случилась пакость. На-стораживал не главбух, с ним еще можно поладить, а от ревизора, этой беды красноглазой, добра не жди. Все же виду управляющий не подал, а его показная беззаботность явно раздражала ревизора.

— Товарищ Дуйсеков,— начал Баймен тихо, но достаточно сурово. На управляющего он по-прежнему не смотрел.— Подойдите, пожалуйста, поближе. Та-ак... Теперь взгляните на эту бумажку.

Управляющий небрежно полистал документы, изобразил на лице недоумение.

— Так это же наряды, составленные еще в октябре прошлого года!

Он с укоризной покосился на главбуха.

— Тогда... тогда, выходит,— нудным голосом тянул ревизор,— что в один и тот же месяц вы дважды закрывали наряд, то-есть, дважды выплачивали деньги. Так, что ли?

Управляющий ничуть не растерялся.

— Э, ну и что же?

— Получается, что сорок рабочих в одно время выполняли две разные работы.

— А почему бы и нет? В горячую страду, бывает, каждый зараз по пять-шесть дел делает. Это даже законом предусмотрено. Верно?

Мадибек, ища поддержки, опять покосился на главбуха, но тот даже не шелохнулся.

— Значит, во время страды вы начисляете рабочим зарплату два раза?

— Приходится иногда, Баеке. Так сказать, матери-



альная заинтересованность, поощрение. По этому поводу имеется специальное постановление...

— Это я и без вас знаю. Скажите лучше: всю ли сумму, указанную в нарядах, получили рабочие?

— Ясное дело! Видите росписи? Хотя на экспертизу подайте. Что еще за разговоры?!

— Росписи есть. Тут и экспертизы не надобно. Но дело в том, что рабочие получали зарплату все же лишь раз в месяц.

— Откуда вам это известно? Или вы провидец?— усмехнулся управляющий.

— Дело нехитрое, Дуйсеков. Ведомости составили заранее, уговорили рабочих расписаться, а сумму представили потом: Самое, так сказать, заурядное жульничество...

— Но люди-то не дураки, почтенный! Попробуй уговорить кого-нибудь нынче расписаться за неполученные деньги. Черта с два!

— Ерунда! Уговорить можно разными способами. Вы это знаете не хуже меня. Или напомнить?

— Не стоит. Чего подкапываетесь, Каугабаев? Или вы — следователь?!— управляющий грозно сдвинул брови. От недавнего благодушия и следа не осталось. Такого за холку не схватишь.— Ничего не знаю! Возможно при оформлении документов допущена ошибка. Спорить не стану. Я не канцелярская крыса, в истлевших бумагах не копаюсь. Я дело делаю, понятно? В чужой карман тоже не лезу. Слава богу, своего заработка хватает. Так что, уважаемый, напрасно ко мне цепляетесь.

— Так что же, ветром около двух тысяч рублей унесло? Может, так и акт составим?

— Акт-макт... Не знаю! Ведомости составлял бухгалтер, ему видней...

Все это время главбух не вмешивался в разговор, прислушивался, выжидал, но теперь вдруг побагровел весь, точно ему сдавили глотку.

— Эй, Дуйсеков! Брось юлить! Не выйдет! Нечего валить с больной головы на здоровую, не то...

— А ты-то чего въерепенился?— Управляющий ощерился, потемнел лицом.— Вы тут, вижу, уже успели снюхаться, а? Но невинного вам очернить не удастся!

— Это ты, что ли, невинный?— вскинулся главбух.

— Я. А что?

— Ну, учудил! А я-то тебя, Мадибек, за порядочного человека принимал... Ладно, нечего тут глотку драть. Разберемся!

Разгневанный Дуйсеков, яростно стуча каблуками, рванулся к выходу, но хлопнуть дверью все-таки не решился. Главбух застыл, разинув рот. Каугабаев уткнулся в бумаги. Ревизия продолжалась.

\* \* \*

Из райсельхозуправления Баймен вышел расстроенный. Разговор с заместителем начальника управления совсем сбил его с толку.

— Вы, я слышал, раскрыли какие-то нарушения в совхозе «Красный караван». — Заместитель задумчиво погладил подбородок с редкой растительностью. — Разумеется, никто не вправе осуждать вас за это. Наоборот. Беспощадно и постоянно бороться с расточителями, очковтирателями и хапугами — наш священный долг, не так ли? За бдительность и непримиримость вас следует только благодарить. Да-а-а... И все же, Баеке... все же не следует, я думаю, иногда быть чересчур придирчивым и мелочным. Ведь мы не только караем, а прежде всего воспитываем. Так? Говорят же: «И мудрец, бывает, ошибается; конь о четырех ногах и тот спотыкается». Если мы не поддержим оступившегося, не выведем на путь истины заблудившегося, то к чему все эти разговоры о гуманности, о душевной широте и добрых дедовских традициях? По-моему, Баеке, к Дуйсекову из «Красного каравана» следует подходить именно с таких позиций. Скажу откровенно: с этим товарищем меня ничто не связывает, он мне, как говорится, ни сват, ни брат. Я его знаю лишь как руководителя крупного хозяйства. Человек он деловой, энергичный, и за это мы его уважаем. Если за ним и числятся какие-то грешки, то давайте сообща поможем ему их исправить.

Заместитель казался человеком умным, рассудительным. И речи были разумные, возразить невозможно. Однако Баймен чувствовал, что за вкрадчивыми словами скрывалось откровенное желание отстоять, защитить преступника, прикрыть его неблагоприятные дела. С этим ревизор не мог согласиться, но и спорить с большим начальником, если даже он и моложе годами, неудобно.

— Помогать-то, конечно, надо... Но беда в том, что этот Дуйсеков совсем не похож на того, кто оступился случайно, по недомыслию... Боюсь, он закоренелый, опытный хапуга...

— Мы, Баеке, очень часто неверно судим о людях и ошибаемся. По-моему, Дуйсекова можно исправить.

— Каким же образом?

— Первым делом пусть до копейки возвратит все, что он себе незаконно прикарманил. Потом надо его пропесочить на совхозном собрании, вынести на общественный суд. Так проучим, чтобы и другим неповадно было. Поверьте: сразу шелковый станет!

— Выходит, мы выгораживаем преступника?

— Ай, зачем так краски сгущать? Давайте, Баеке, попробуем. Такие меры законом не противопоказаны.

— Так-то оно так... Но...

— Никаких «но», Баеке! — решительно отрезал заместитель. Он чувствовал, что ревизор колеблется, поэтому решил не мешкать. — Так и сделаем, Баеке. Договорились? Нам еще не раз придется встречаться по работе, а взаимопонимание — великая вещь...

Почтительные слова высокого начальника и в самом деле смягчили душу ревизора. Ничего не скажешь: наловчился с людьми разговаривать, любого облапошит. Шеф скорее на пенсию сплавить норовил, а этот об этом ни гу-гу...

— Ну, посмотрим, — невольно вырвалось у Каугабаева. Но едва он это сказал, как его начали терзать противоречивые чувства. «Дур-рак! — отругал он себя. — Мямля! Раз «посмотрим», выходит, я с ним согласился. Тьфу!»

Жил Баймен на краю поселка. Улочки здесь были узкие, кривые, неасфальтированные. Белесый пухляк клубился из-под тупоносых ботинок. Прямо в лицо дул раскаленный ветер. То здесь, то там торчали чахлые деревца, и потому здесь с самой середины лета вольно гулял-пошаливал суховей, завывая на все лады. Погода, кажется, с каждым годом становится все капризней: то месяцами свищет пыльная буря, то все вокруг замирает в нестерпимой духоте.

Баймен семенил по обочине дороги, и в ушах его все еще стоял мягкий, вкрадчивый голосок молодого заме-

стителю. Голос-то мягкий, а на душе ревизора было от него муторно, тревожно. Конечно, этот вежливый джигит не чета пройдохе Дуйсекову. На одну доску их не поставишь. Выходит, для заместителя важны хозяйственные, деловые качества управляющего. Иначе зачем бы ему заступаться? Он видит в нем прежде всего неплохого организатора. Но как быть, если этот «организатор» — просто нечестный человек? Разве честность — не первое достоинство гражданина? А может, людям надоели все эти словеса, вроде совесть, честь, справедливость? Ведь нынче их вконец затрепали. Кто знает... Лично он, Баймен, предпочитает ходить по прямой дорожке. Но разве он никогда не оступался? Не подстраивался, не подлаживался? Нет, пожалуй, и Баеке — не безгрешный ангел. Бывало, и на поводу нечестивцев ходил, бывало, ради мелкой корысти душой кривил. Всякое пришлось пережить. Но зато скольких хапуг вывел на чистую воду! Жулики трепетали перед ним! Так что толсторожий Дуйсеков — не первый, не последний. Правда, иногда приходилось уступать мольбе сородичей, прикрывать дела, не давая им ходу. У казахов это называется: оставлять закрытый казан закрытым... Но такое случалось редко. Человек он хоть и маленький, но имеет свое достоинство и старается честь не запятнать. Живет скромно, незаметно. Никогда не жалуется на жизнь, на судьбу, на нехватки. И никому не позволит над собой куражиться. Жаль: с образованием неважно. До войны успел окончить пять-шесть классов, был рядовым кетменщиком в колхозе, потом, вернувшись с фронта, закончил шестимесячные курсы бухгалтеров в области. С тех пор, считай, и сидит в канцелярии. Папки перебирает, бумаги листает, на счетах щелкает. Вот и вся жизнь и деятельность. Поощрять — особенно не поощряли, но и взысканий не имел. Да он и сам вперед не рвался, никому в глаза не лез. Довольствовался скромной зарплатой, еще более скромным очагом и сносным здоровьем. Семья — раз-два и обчелся. Дочь замужем, сын в Алма-Ате. Парень бойчее отца оказался. Окончил институт, потом — аспирантуру, кандидатом каких-то наук стал, в Академии устроился. Родителей за все эти годы ни разу не навещал. Должно быть, наука не пускает. Лишь изредка приходят письма: «Отец, пришли согум». Видно, не больно крепко живет, раз сам себя

мясом обеспечить не может... Впрочем, кто знает... И отец у сына ни разу не был.

Так и жил бы Баймен тихо-мирно, если бы не нагрянула беда неожиданная в лице Дуйсекова. Не будь его, никто о пенсии и не заикнулся бы. Теперь ревизору постоянно мерещится, будто все сговорились, все только и хотят от него избавиться. Недавно встретился случайно с заведующим райсобесом, так и тот про пенсию разговор затеял. Апырай, кому он на хвост наступил? И почему такой сыр-бор из-за какого-то Дуйсекова?

Одним словом, лишился ревизор сна. Этот Дуйсеков (чтоб он провалился!) — ему не кровный враг. Но потакать вору, хищнику — извините, этого совесть не позволяет. Он, Каугабаев, почему-то не угодил шефу, ну и пусть. Пусть! Он тоже пресмыкаться не станет, никому угождать не будет. Да и ради чего? Существует же, в конце-концов, служебный, гражданский, если на то пошло, долг! Пусть все знают: Каугабаев — не мокроно-сый мальчишка, от него так просто не отделаешься. Вон, весь район сейчас судачит о ревизии в «Красном караване». Отступать поздно! Какими глазами он посмотрит на честный люд, если теперь выгородит преступника?

Занятый своими думами, Каугабаев и не заметил, как дошел до своего неказистого, недавно беленого домика, скромно стоящего за серой изгородью на перекрестье улиц. Заключение многодневной ревизии, проведенной им в «Красном караване», он намеревался написать в тиши...

Дома ждал его гость. Гость лежал на мягких подстилках, отвернувшись лицом к стенке, и храпел на весь дом. Могучий был детина; горбился боком, точно откормленный верблюд. Баймен не узнал его и нарочито громко спросил у старухи:

— Кто этот нечестивец? Чего он храпит посередь дня? Гость не шелохнулся.

— Сама не знаю. Пришел, тебя спросил. Посидел немного, да и завалился спать. Должно быть, умаялся бедняга. Глянь, как спит.

— Ты что, спятила? Уже не знаешь, кто к тебе в дом приходит?!

— О, боже!.. Откуда мне знать, если я его никогда и в глаза не видела?

— Ну, какой он хотя бы из себя?

— Думаешь, разглядывала? Небось не разбойник...

Баймен, соблюдая приличие, не стал будить гостя. Старуха разогрела самовар, сготовила плов, и, когда дастархан был накрыт, хозяин ткнул храпуна в бок.

— Оу, почтенный, проснитесь. Обедать пора.

Сопя, пыхтя, отдуваясь, черный рябой верзила грузно повернулся, протер глаза. Увидев Баймена, мгновенно очнулся, осклабился, протянул обе руки. Ревизор аж съежился, сразу узнав в рябом детине родственника Дуйсекова. Однако выгонять из дому гостя, даже незваного, нежеланного, у казахов не принято, и хозяин, сдерживая досаду, молча слушал его корявую речь...

Себе на уме оказался гость: плел невесть что, о деле, однако, помалкивал. Ловко расправился с жирным пловом, за чай принялся. Он явно тянул, стараясь развлечь хозяина пустой беседой.

Уже и дастархан убрали. Гость отодвинулся к стене, вытянул ноги, достал табакерку-шахшу, насыпал на ладонь щепоть насыбая, помял, покрошил его и заложил за губу. Лишь после этого он протянул шахшу хозяину, но тот отрицательно помотал головой. Рябой, наслаждаясь терпким насыбаем, пожевал губами, помедлил, потом не выплюнул табак, как это делают другие, а проглотил его. При этом он торжествующе глянул на хозяина, как бы желая удостовериться, оценил ли тот по достоинству его искусство. Баймен и раньше слышал об аульных шутах, умеющих на спор глотать табак, и потому ничуть не удивился. Гость, не дождавшись слов восхищения, поерзал, крякнул.

— Баеке!— Квартирка ревизора была тесна для его рокочущего баса.— Вероятно, вы думаете, кто же припожаловал к вам нежданно-негаданно. Я младший брат Мадибека из «Красного каравана»... Работаю на ферме, телят пасу. Имя мое — Малибек.

Хозяин наусупился, ни слова не сказал.

— Да-а... приехал я сюда по делам... в заготскот. О вас я наслышан. Ну, думаю, надо провести хорошего человека, а то еще когда такой случай подвернется...

Хозяин и на этот раз рта не раскрыл. Гость был озадачен. Уж больно невзрачен казался ему ревизор. Глаза потухшие, белесые, шея дряблая, тонкая, лицо желтое, изможденное, сплошь в морщинах, нос заострился, точно клюв. А худой — в чем только душа держится? Неужели

этот сморчок представляет какую-то опасность для его всемогущего брата? Уму непостижимо! Почему он все молчит, точно язык проглотил? Ох и трудно же столкнуться с такими вредными старикашками! В другое время и не поздоровался бы, теперь поневоле приходится в рот ему заглядывать.

— Признаться, есть одно небольшое дельце, Баеке.— Младший Дуйсеков откашлялся.— Братан мой, кажется, немного маху дал. Все ведь ради детишек да бабы. Сам-то он добрая душа, скромняга. Муху не обидит, ей-ей. Это дружки его, бригадир да бухгалтер, подвели. Такие хапуги, такое жулье — жуть. Все к себе гребут, хищники! Ну и братана соблазнили. С кем не бывает?.. Говорят: «Даже ангел при виде золота с пути праведного сворачивает». Теперь, оказывается, судьба брата в ваших руках, Баеке.

— От меня ровным счетом ничего не зависит,— подал, наконец, голос хозяин.— Все остальное теперь решат судебные органы... Так что напрасно стараешься, дорогой. Дело приняло серьезный оборот...

Младший Дуйсеков побледнел.

— Как?! Вы уже успели передать дело прокурору?!

— Пока еще нет.

— А... Ну слава аллаху!..

Гость сразу успокоился, подмял под бок подушку, всем видом показывая, что спешить ему некуда. Потом его, должно быть, осенила какая-то мысль, и он сделал совершенно неожиданное предложение.

— Баеке, может, пару раз в картишки перекинемся? Деньги у меня есть...

Ревизор усмехнулся:

— А у меня — нет. Как же быть?

— Какой разговор? Я могу одолжить. Не чужие. Не в последний раз видимся.

— Ну, и сколько?

— Что... сколько?

— Сколько одолжишь, спрашиваю?

— Вам виднее. На всякий случай тыщонку я прихватил. Думаю: а вдруг с кем-нибудь в очко сыграю...

— Э, брат, одной тыщонкой много ли дыр залатаешь?!

Младший Дуйсеков мигом все понял. В глазах его появился блеск.

— А сколько надо? Полторы тыщи хватит?

Он уже полез было во внутренний карман, но тут Баймен вдруг выпучил глаза и заорал не своим голосом:

— Вон отсюда, стервец! Нашел кому взятки предлагать!.. Вон!.. Не то вызову милицию, составлю протокол и отправлю, куда следует!..

Рябой перепугался.

— Оу, Баеке, что с вами? О какой взятке говорите? Вы же сами попросили взаймы... чтобы в картишки поиграть... Ну, и я...— Опираясь на одну руку, гость тяжело поднялся.— Если гоните из дома, что ж... Пойду.

— Уходи! Сгинь! Некогда мне с тобой тары-бары разводить.

— Хорошо... Ладно, ладно...— Младший Дуйсеков попятился к двери и, уходя, пригрозил.— Посмотрим! Встретимся!

— Что?! Небесные кары, что ли, на меня обруишь? Не морочь голову! Убирайся! Живо!

Баймен брезгливо махнул на него рукой и отвернулся. Едва рябой захлопнул за собой дверь, из передней прибежала перепуганная старуха.

— Что случилось, ойбай! Чего вы раскричались?

— Этот мерзавец подкупить меня хотел! Взятку предлагал!

— Какая взятка, ойбай? Что за наказание еще?!

— Ладно, старуха, не шуми. Дай мне теперь спокойно поработать...

В тот же вечер ревизор районного финансового отдела Каугабаев написал обстоятельное заключение о результатах ревизии, проведенной им в совхозе «Красный караван». Об управляющем отделением Дуйсекове и его сообщниках он подготовил документы для передачи в прокуратуру.

Только теперь он почувствовал, как устал за последнюю изнурительную, тревожную неделю.

В эту ночь Баеке спал спокойно...





На знаменитой во всей округе Каратау джайляу «Майши» проходил областной слет чабанов. Вдоль излучистой степной речки, заросшей по берегам зеленым кураком, выстроилось восемьдесят юрт. Гремело тысячутое торжество. Вслед за прославленным трудовым человеком съехались сюда со всей области акыны и сказители, певцы и кюйши, весельчаки-затейники и острословы, и каждый норовил ошеломить взбудораженную толпу своим искусством. Не щадили струн домбры, не жалели глоток, и казалось, не выдержит голубое, чистое, как шелк, небо жаркой поры шильде, расколется и обрушится на безбрежную степь. И каждый раз толпа возбужденно гудела, колыхалась, когда в круг, сменяя друг друга, выходили вдохновенные певцы-акыны с разукрашенными домбрами. Особенно в ударе был сегодня сказитель Абиькас из Чили. Еще молодой, рыжеватый, полнолицый джигит смахивал со лба обильный пот, быстро-быстро, речитативом проговаривал слова и вдруг срывался на мощный, ликующий крик, от которого толпа, горячо поддерживавшая любимца, приходила в неистовый восторг.

В шумной толпе находился и Мысыр, фельдшер. Уже лет пятнадцать он мотается по степи, обслуживает чабанов на далеких отгонах. В бескрайней долине между Телькулем и Сарысу не найдешь скотовода, который не знал бы Мысыра. Он давно уже сдружился и породнился с исконными степняками, закаленными на ветру, на сту-

же и нещадном солнце. Всем сердцем привязался к могучему чабанскому племени, представления не имеющему об уюте и покое. Он делил с ними радости и горести, и всюду держался вместе с ними, чувствуя себя равным среди них. Когда горластый сказитель Абиькас из рода Кипчак воспевал, не жалея красок и восторженных слов, земной рай — зеленые просторы пастбищ, и верных сынов степей — чабанов, зимой и летом не слезающих с седла, Мысыр радовался и хлопал в ладоши громче всех.

Он был весь во власти песни, когда подошел к нему шофер Дильдабай.

— Ага, вас Аякен зовет...

Мысыр поморщился. Шофер раздражал его. Не джигит — тюфяк, зануда. Вернулся в прошлом году из армии, слонялся по аулу, пока не попался на глаза Аяпбергону. Тот мигом взял его к себе шофером — редакторская машина без толку пылилась в гараже. У Аяпбергена почему-то шофера не задерживались. А этот слюнтяй, ко всему прочему мелочный и жадный — без рубля и шагу не ступит — приглянулся Аякену. Как же, не пьет, лишнего не болтает, за девками не бегаёт, брани, бей его — не икнет, — где еще такого найдешь. Для редактора районной газеты, у которого своих забот хватает, это не шофер, а сущий клад.

Сказитель в это время отчаянно ударил по струнам домбры и завел искрометную песню Нартая, прославленного акына присырдарьинских степей. Уйдешь разве... Когда Абиькас под одобрительный гул, наконец, умолк, Мысыр неохотно направился к большой белой юрте, отведенной для особо почетных гостей.

Человек пять сидели кругом и увлеченно пыхтели над огромной крашеной чашей.

— А, проходи... Вовремя пришел.

Гости заерзали, подвинулись, выказывая радушие. Мысыр присел с края. Куырдак был отменный: нежное мясо ярочки, с печенкой, с сердцем, с курдючным салом, и все это круто посолено, поперчено — язык проглотить. На дастархане вокруг чаши густо стояли белоголовки. Они соблазняли, невольно притягивали взор, но Мысыр только мельком покосился на них. Когда-то он был на короткой ноге с «акмаганбетом — ерофеичем». Но в по-

следние годы неожиданная хворь — гипертония — разлучила их.

Наевшись куырдака, он вытер губы, отодвинулся. В углу бугрился черный бурдюк. Он развязал ремешок, налил из него в большую чашу пенистого кумыса, залпом выпил. Мгновенно выступила на лбу холодная испарина.

Остальные доели куырдак и дружно потянулись к белоголовкам.

Все издавна и хорошо знали друг друга. На почетном месте восседал чернявый, дородный Кунтуар, начальник районного объединения «Сельхозтехника». С Аяпбергеном они давнишние приятели. Всю войну, говорят, прошли бок о бок, вместе пережили все радости и горести. Не отставая от Кунтуара, хлестал водку плотный, кряжистый старик с длинной сивой бородой. Это Карамерген, знаменитый охотник. Почти всю жизнь провел он в степи, в горах и ущельях. Сам господь бог не знает, сколько он на своем веку истребил волков и карсаков. Ну, а этот, неутомимый говорун, которому никто не перечит, — сам Аяпберген. Он приходится Мысыру дядей по матери, то есть нагаши. Лет пять назад он вернулся, как поговаривали, с «большой» учебы и с тех пор редактирует районную газету «Алга». Изредка в своей же газете Аякен публикует язвительные фельетоны. Мишенью для его статей служат обычно малограмотные муллы, баксылекари, доживающие свой век в далеких аулах. Писания ученого братца не восхищают престарелую мать Мысыра. «И что ему сделали эти почтенные люди?! — недоумевает каждый раз она. — Их и так осталось, что волосинка на голове плешивого. Или еда ему не еда, если он не поглотится над стариками?!»

Нижняя кошма юрты была приподнята, и с речки тянуло приятной прохладой. За юртой взад-вперёд носились люди, мчались мальчишки на призовых скакунах. После обеда должна состояться байга, и опытные лошадики заранее разогревали коней, готовясь к предстоящим скачкам. Молодежь столпилась вокруг охрипшего магнитофона, извергавшего неистовую кабафонию. Автолавки гостеприимно распахнули двери, продавцы, разложив товары, зычно зазывали покупателей. Неподалеку стояла небольшая юрта с красным флагом. Перед ней, на зеленой лужайке, с безразличным видом сидели ста-

рики и старухи. Тощий, длинноволосый джигит, размахивая газетой, читал лекцию, должно быть, о международном положении. Аульные старики не прочь послушать о том, как израильтяне измываются над потомками пророка. О том и Мысыр не раз рассказывал чабанам.

А этим, в юрте, ни до чего не было дела. Куырдак и арак разморили их, и теперь они, отрываясь и поглаживая животы, громко, вразнобой говорили о том, о сем. И только двое не принимали участия в бестолковой беседе: шофер Дильдабай, с унылым видом сидевший у порога, и фельдшер Мысыр, чутко прислушивавшийся к шуму за юртой.

Белоголовки одна за другой исчезали с дастархана, и друзья-приятели горланили все громче. Мысыру это надоело, и он потянулся было к выходу, но нагаши Аяпберген сделал рукой неопределенный жест и прокричал визгливо:

— Стой, племянник! Не уходи. Поедем, козочек постреляем.

Мысыр не сразу понял.

— Какие еще козочки?!

— Обыкновенные. Дикие, горные.— Аяпберген залиvisto рассмеялся, хлопнул Кунтуара по бедру.— Верно я говорю, а?..

— Так точно!— Кунтуар подался вперед всем своим тучным телом, юлой закрутил опустевший стакан.— Давай, наливай!

Маленькой пухлой ладошкой Аяпберген прикрыл горлышко бутылки.

— Эй-эй-эй!.. Хватит. Сейчас поедем.

— Ну и что? Жалко тебе?!.. Наливай!

— И не подумаю.

— А я говорю, наливай, Аяпберген.

— Пей, но тогда с нами не поедешь.

— Это еще почему?!

— С пьяным какая охота?

— А... Ну, ладно...

Судя по разговору, об охоте они договорились заранее. Неспроста прихватили с собой старого охотника. Ведь ружье-то его. Только что за охота с одним ружьем? Должно быть, погулять решили, поразвешаться. Да как бы не опоздать к началу байги. Но дядя развеял его сомпе-

ния: к обеду, к байге они обязательно вернутся, а полакомиться свежим мясом дикой козы и он, наверное, не прочь... Мысыр только повел плечами и заметил:

— Что ж... Только уж больно печет сегодня, надо бы витье прихватить.

В спешке никто его не послушал. К чему, думали, лишний груз: через час-другой снова примчатся сюда.

Дильдабай молча потоптался вокруг машины, налил в радиатор воды, попинал на всякий случай баллоны.

Аяпберген по привычке сел рядом с шофером, остальные разместились на задних сидениях. В юрте было прохладно и уютно, а в «виллисе», крытом брезентом, воздух накалился, как в бане. Стоял нещадный июльский зной, и все мгновенно стали исходить потом. Грузный, рыхлый Кунтуар обмахивался платком, тяжело дыша и ерзая.

— Ойбай, дорогой,— наконец прохрипел он шоферу.— Гони скорей! Не то задохнемся в твоей душегубке.

\* \* \*

Юркий «виллис» долго шнырял по увалам и лощинам, но охотники не заметили ни одного зверька. Тогда помчались в пустынную степь, простиравшуюся к северу от Черных гор. Прошло часа два, как они покинули джайляу «Майши», а Карамерген ни разу не вскинул ружье. В газетах часто звучала тревога по поводу того, что в степях почти не стало зверья и дичи. Мысыр убеждался теперь в этом собственными глазами. А ведь совсем недавно, когда Мысыр был мальчишкой, сколько было вокруг разной живности! Бывало, фазаны стайками взлетали из-под каждого куста. Прямо под носом проскакивали степные зайцы, то здесь, то там пламенем мельтешили лисьи хвосты. А косули и антилопы, спасаясь от метели, иногда табунами врывались в аулы. Перепуганное животное становилось легкой добычей не только опытных охотников, но даже аульных сорванцов и собак. А теперь у каждого ружье, машина. Сиди себе на мягком сидении, мчись по степи, да знай, постреливай налево-направо.

Тоскливо было на душе Мысыра. Вокруг, куда ни помотри, простиралась бурая голая степь. Она словно распласталась, задремала под нещадно палящим солн-

цем. Жгучие лучи слепили глаза. Унылая, однотонная степь, вернее, полупустыня, сливалась у горизонта с выгоревшим; таким же унылым небом:

Изредка то здесь, то там вздымается, клубясь, густое облако пыли, но тут же оседает на лиловую корявую полынь и чахлый типчак. Воздух раскалился как пламя. Ни ветерка, ни дуновения. Но норов степи известен Мысыру: тишина эта обманчива. Иногда все вокруг замирает, ни один листик на чахлых кустах не шелохнется. А потом вдруг обрушится смерч, поднимет облако пыли и песка, закроет солнце и беснуется неделями. Не одно русло в Бетпак-дала засыпало песчаной бурей. В древние времена здесь, вероятно, бурлили полноводные реки, на зеленых лугах побережья пасли скот... Нынче, в половодье, река Сарысу вышла из берегов, залила долины, и сразу же в рост пошла трава. Благодать скотине! И травы, и воды вдоволь. Не стало привычной толкотни возле артезианских колодцев, не ссорились колхозы из-за насосов. Эх, напоить бы эту иссохшую от жажды степь!..

Худо без воды. Вот и они, едва выбрались в пустыню, как уже почувствовали неодолимую жажду. При одном взгляде на выгоревшую под палящим солнцем степь хотелось пить. Первым не выдержал тучный Кунтуар.

— А, провались! Поехали назад. Во рту пересохло. Аяпберген язвительно хмыкнул:

— Надо было еще одну бутылочку выцедить... Как поедешь с тобой, так и неудача.

— Ладно, не подохнешь, если мяса киика не поешь. Эй, шофер, поверни назад!

Шофер, однако, и ухом не повел. Машина продолжала мчаться по бездорожью. Кунтуар вскипел. Почтенный человек, во всем районе его знают, а какой-то мальчишка, сопляк, его не слушает?!

— Эй! Кому я говорю?! Поворачивай!

Он задохнулся, закашлял, посинел весь. Дильдабай молчал, будто и не слышал ничего. Кунтуар достал огромный, как полотенце, платок, вытер лицо, голову, унял кашель, угрюмо уставился на спутников. Старик-охотник сидел безразлично, отрешенно, поглаживая бороду и шурясь. Мысыр наклонился к толстяку:

— Зря стараетесь. Кроме Аяпбергена, никто ему не указ.

— Как это?!— вскинулся Кунтуар.— Он же не пес на привязи, который слушается только хозяина!

Дильдабай, должно быть, услышал: он резко свернул в сторону, прибавил газу. Машина бешено запрыгала на ухабах.

Кунтуар с силой стиснул плечо Аяпбергена, повернул его к себе.

— Эй, этот обалдуй убить, что ли, нас собрался, а?! Уйми же его!

Аяпберген хохотнул, оскалив белые зубы.

— Отвяжись от парня.

Карамерген вдруг встрепнулся.

— Вон киики!

Спутники вытянули шеи, повертели головами туда-сюда, но ничего не увидели.

— Какой там киик?!— буркнул Кунтуар.— Померещилось тебе, старик... Дьявольское наваждение.

— Смотрите вперед... вон туда.

— Ни черта там нет... Наваждение дьявольское.

— Постой, постой...— Аяпберген весь подался вперед, припал к стеклу.— Вон там вроде что-то чернеет...

В самом деле, там, где бурая степь сливалась с бесцветным небом, зыбились едва заметные черные точки.

— Дьявольское наваждение, говорю вам,— упрямо твердил Кунтуар.

Ему нестерпимо хотелось пить, и никакая охота уже не привлекала.

— Нет, это косули, целый косяк,— уверенно сказал Карамерген.— Но очень далеко. Из-за миража кажется близко, на самом деле на лошади не доскакать.

— Но под нами ведь не лошадь. Машина! Может, рискнем, старик?

— Воля твоя, дорогой. Только вряд ли догоним.

— Э, как сказать! А ну, Дильдабай, жми!

Приказ начальника как бы подстегнул шофера: машина рванулась из последних сил, взревела, словно хотела разбудить сонную степь, зайцем запрыгала на кочках. Кунтуар тяжело задышал.

— Ты, что, паршивец, совсем угробить нас хочешь?! Все внутренности отбил...

Конечно, для тучного человека такая езда — не-ра-дость.

Вихрем мчались по голой степи более часа, однако

косуль и след простыл. Вскоре и мираж исчез, словно ничего и не было.

Все угрюмо молчали. «Виллис» на всем ходу вдруг вздрогнул, будто подбитый зверь, мотор поперхнулся, чихнул раза два и заглох. Машина по инерции проехала чуть-чуть и остановилась. Первым выскочил Аяпберген.

— Что такое? Что случилось?!

Шофер откинул капот, заглянул в мотор и озадаченно почесал затылок. Кунтуар, постанывая и пыхтя, отстранил его, заглянул вовнутрь, что-то потрогал, пощупал. Начальник районного отделения «Сельхозтехника» кое-что понимал в машинах. Решение его было суровым.

— Хана аккумулятору. Сел намертво. Теперь этот драндулет, хоть быков запрягай — с места не сдвинешь.

Аяпберген вытаращил глаза.

— Ойбай! Как же так?! Да мы же околеем здесь. Ты уж постарайся, сделай что-нибудь...

Кунтуар презрительно глянул с высоты своего роста.

— Эх... «Постарайся». А куда шофер твой смотрел? Почему он не заменил аккумулятор до сих пор?!

— Ойбай-ау, да что же будет?!

— А то будет, что в этой чертовой степи мы все пятеро сковырнемся. От жажды подохнем. До гор пешком нам не добраться. Верно, старик?

Все вышли из машины. Старый охотник приставил ладонь ко лбу, долго вглядывался в окрестность. Двустолка привычно висела на плече.

— Пожалуй, ты прав, дорогой. Если никого не встретим, дела наши плохи.

После этих слов Кунтуар умолк, подошел к машине с теневой стороны и плюхнулся на песок, опершись спиной о колесо.

— Болтайте теперь, сколько вам вздумается. А я буду спать.

Он опустил голову на грудь и закрыл глаза. Рядом с ним расположился Аяпберген. Он тоже упитан, ухожен, но низкоросл, рыжеват. Редкие, с заметной проседью волосы зачесаны на правую сторону.

Дильдабай пытался было пристроиться рядом со своим начальником, но Кунтуар глянул на него искоса, безглаголиво буркнул:

— Брысь отсюда! Для тебя в тени места нет. Иди, с аккумулятором повозись. — И повернулся к Мысыру. —



Эй, фельдшер, присядь, отдохни. Ты нам сегодня еще пригодисься.

Тень от машины — так себе, одно название. Солнце едва перевалило зенит. Дышать нечем. Раскаленный воздух обжигал легкие. Мучила жажда, противная горечь во рту. Мысыр, однако, чувствовал себя сносно: его спасением была большая чаша холодного кумыса, которую он выпил перед выездом. Но спутникам его было очень худо. Сказывались острый куырдак и водка. Язык распух, не вмещался во рту. Одно желание, одна мысль назойливо сверлили мозг: пить, пить, пить. Но где вода? Где люди? Где аул? Кругом безмолвная, бездушная пустыня...

Молчали удрученно, угрюмо. Каждый думал о своем. И только старик с двустволкой за спиной по-прежнему терпеливо обзирал окрестности.

А солнце жжет немилосердно. Вокруг ни былинки, ни кустика. От песка идет жар, словно от раскаленной добела чугунной печки. В тени не менее сорока градусов, решил Мысыр. Сколько же на солнце? На жарком солнце пустыни?.. Он пригляделся. Степь была только с виду мертвой, на самом деле она вся изрыта норками. Значит, под этими песками затаилась жизнь. Эти норки кишат зверьками, которые выползают наружу, как только заходит солнце, и начинается ночная, таинственная жизнь степи. Но ведь всему живущему на земле нужна вода. Без воды нет жизни. Где же, однако, это бесчисленное зверье находит влагу в пустыне, похожей на высохшую до звона старую шкуру? Должно быть, глубина этих норок не одна сажень. Лежат их счастливые обладатели в прохладе, насладившись ледяной подземной водой, и горя не знают. Мысыр усмехнулся. Кому он завидует? Мышам, сусликам, кротам? Позавидуешь поневоле, если уже сил нет проглотить горький ком в горле. Жирный куырдак дает о себе знать. Если через час-другой не придет помощь, они здесь прожарятся, как грешники в аду. Испепелит их солнце пустыни. Помощь... Откуда ей быть? Поблизости и дороги-то нет. Птицы, и те здесь редко пролетают.

Пожалуй, хуже всех чувствовал себя нагаши Аяпберген. Он расстегнул сорочку, раскидал руки-ноги, тяжело вздыхал, охал. Дильдабай делал вид, что копается в ма-

шине. Из-за него беда случилась. Заменяй он вовремя аккумулятор, не торчали бы теперь здесь.

В радиаторе есть вода. Только толку от нее нет: горячая, ржавая. Да и посуды у них никакой. Правда, у Мысыра в медицинской аптечке лежат десять флаконов разведенной глюкозы. Это уже на крайний случай, для тех, у кого помутится в голове.

Более недели он не был дома. Соскучились, должно быть, детишки. Жена привыкла к длительным поездкам фельдшера по отгонным участкам. А вот старая мать и сорванцы-погодки всегда скучают по нему. Сам он, Мысыр, один рос. Едва не оборвался на нем род. Теперь, слава богу, четверо сыновей у него. Все в отца пошли: большеглазые, носатые. Мысыр не имел возможности долго учиться. Еле на фельдшера вытянул. И потому мечтал выучить всех сыновей. Старший нынче пойдет в школу. Уже сейчас вызубрил всю азбуку и даже таблицу умножения наполовину одолел...

Апырмай, видно, начинает сказываться гипертония. В глазах потемнело и в голове шумит.

— Вот так и околеем ни за что, ни при чем, — донесся вдруг жалобный голос Аяпбергена. — Горю, ойбай, весь горю... Племянник, где ты?..

Мысыр придвинулся к дяде. Аяпберген судорожно царапал себе грудь.

— Не отчаивайтесь. Потерпите немного.

— Не могу больше терпеть... Умираю. Пить...

Побелевшим языком он облизнул сухие, потрескавшиеся губы.

Тень от машины начала удлиняться. Кунтуар сидел молча, закрыв глаза и тяжело дыша. Старый охотник приткнулся в сторонке, обхватив обеими руками двустволку. Изредка он поднимал голову, оглядывался, прислушивался. Дильдабай залез под машину и лежал ничком, положив голову на руки. Видно, надежда окончательно покинула его.

Мысыр открыл аптечку, достал флакон глюкозы, довка отбил острый кончик и влил прозрачную жидкость в рот дяди. Тот жадно проглотил и невнятно попросил:

— Еще...

— Нельзя.

— Почему?

— Не вода ведь — лекарство. Потом и другим может понадобиться.

— Зачем тебе другие? О дяде своем позаботься, дурень!

Мысыр смутился. В уме ли Аяпберген? Значит, другие пусть пропадают, лишь бы он в живых остался? Так, что ли, получается?

— Нет, вам пока достаточно.

— Но я же от жажды умираю...

— Вздор... Потерпите!

Кунтуар, оказывается, не спал и все слышал. Приоткрыв покрасневшие глаза, он брезгливо буркнул:

— Да отдай ты ему все. Пусть живет. А то, не приведи господь, рухнет опора казахов...

Мысыр молча сел на свое место. Ему стало неловко за своего нагаши. Да как он мог такое сказать? Может, у него рассудок помутился? Никогда он малодушным не был. И горечь, и сладость жизни изведаль. В трудное время, бывало, и Мысыру помогал, да не один раз. Именно благодаря ему удалось окончить медучилище. Постеснялся бы товарища своего, Кунтуара. Как он завтра ему в глаза посмотрит? Или думает, что уже пришел конец? Какое малодушие?! Что за безволие? Мысыр впервые видел своего нагаши в таком жалком состоянии.

Шофер под машиной тоже не подает признаков жизни. Уж не обморок ли с ним? К парню этому душа не лежит, но сейчас не до того. Мысыр подлез к Дильдабаю, рванул за плечо.

— Эй, вставай! Что с тобой?

Дильдабай лежал, как колода. «Э, действительно, худо с парнем».

Мысыр сунул руку под грудь шофера, перевернул его на спину. Потом склонился над ним и... Дильдабай, что называется, дрыхнул без задних ног! Мысыр, пожалуй; впервые проникся к нему уважением. Все вокруг задыхаются, места себе не находят, а этот безмятежно храпит, позабыв обо всем на свете. Ну, не молодец ли?

Кунтуар сорвал с себя рубашку.

— Горю весь... Может, так легче станет...

— Ай, вряд ли...

— Ну, и пусть! Хоть и подохну, так по крайней мере тело не стесню.

— Оставьте, почтенный! Неужто какая-нибудь машина не проедет?

— Какая машина?! Разве что торгаши с дынями проедут в сторону Джезказгана...

— Вон посмотрите: самолет летит.

— Ну, и что? Чихать он на нас хотел. Увидят нас и подумают: чудаки какие-то, бездельники по степи шляются.

— Можно помахать, дать ему знак.

— Так и поймут твои знаки. Глупости...

Кунтуар похлопал ладонями по тугому животу, всерьез спросил:

— Как думаешь, с таким бурдюком сала я долго продержусь?

Мысыр невольно расхохотался.

— Как же тогда быть нам, отощавшим овцам?! Или вы с Аякен договорились только вдвоем выжить?

Кунтуар почесал мощный, в толстых складках затылок, слегка смутился.

— А, один черт... Кого мы облагодетельствуем, если даже в живых останемся?..— Повернулся всей тушей, увидел Карамергена. Старик трухлявым пнем торчал в голой степи. Мерлушковая шапка низко надвинута на лоб.— Эй, старик, иди сюда. Что сидишь на отшибе, словно старая ворона на навозной куче?

Охотник, помешкав, подошел. На нем были стеганные шаровары, толстая фуфайка, на ногах — изношенные громоздкие сапоги. Как он терпит в такой одежде! Еще и подпоясался туго-натуго широким сыромятным ремнем.

— Садись вот сюда, в тень,— по привычке властно сказал Кунтуар.— Сколько тебе лет?

— Э, милый... семьдесят пятый ныне стукнет.

— О, пожил, значит. Хорошо! И пережил, перевидел, должно быть, немало, а?

— Э, что там говорить...

— Хорошо! И эти места знаешь, а?

— Конечно, дорогой. Считаю, сорок лет по степи этой мотаюсь.

— Хорошо! Тогда скажи: где мы сейчас торчим?

— Э, далековато забрались, сынок, далековато.

— Не Сорочья ли эта долина?

— Какой там! Мы ушли совсем в глубь верховья.

— Ну, и что ты посоветуешь, старик?— Кунтуар схватил охотника за рукав.— В трудный час наши предки всегда к мудрым старцам за помощью обращались. Давай, говори!

Охотник снял ружье, положил его перед собой. Потом достал огромный кисет, высыпал на клочок бумаги мажорку, свернул «козью ножку». В движениях его была степенность и неторопливость.

— Выход у нас только один.— Он сощурился, сигаркой ткнул на северо-запад.— Отсюда на расстоянии однопдневного пути есть озеро, камышом да осокой заросшее. Вода в нем пресная. На берегу озера живут скотники с верховья. Если до них доберемся, спасем наши души...

— Так какого дьявола мы тут сидим?! Пошли!

— Нет, дорогой. При такой жаре далеко не уйдешь. Подождем, пока солнце зайдет.

— Ойбай, меня... меня доставьте первым,— прохрипел еле слышно Аяпберген.— Мне совсем плохо.

Кунтуар едко хмыкнул.

— Не беспокойся. Для тебя заказан персональный вертолет. Разве можно допустить, чтобы казахи лишились такого замечательного фельетониста?

\* \* \*

По пустыне плелись пятеро. К их счастью, светила луна и было не очень душно. С севера дул прохладный ветерок. Но идти по бездорожью было тяжело. Они брели, спотыкаясь о кочки, о корни пересохшей полыни, падая и вставая вновь. Жажда не проходила, язык во рту словно одеревенел. Мысыр истратил почти всю глюкозу. Аяпбергена уже не держали ноги. Огромный и толстый, как одnogорбый верблюд, Кунтуар взвалил вконец ослабевшего редактора на спину. Впереди, волоча ноги, брел старик-охотник. Рядом с ним следовал неотступно Мысыр. Шофер Дильдабай верной тенью маячил возле своего начальника.

Время было далеко за полночь. А озера все еще не видно. Распласталась бескрайняя степь и нет ей дела до чужих горестей и бедствий. Столько она перевидела за множество веков, что очерствела, ко всему стала равнодушна, безразлична. Когда-то она; эта дряхлая степь,

цвела, сияла, словно невеста на выданье, потом по ней промчались свирепые полчища; здесь кипели страсти, царствовали могущественные владыки, крушились полудикие державы. Все терпеливо сносила степь и теперь будто окаменела. Старики говорят: «Ночью степь сбрасывает пути». Видно, то имеется ввиду, что ночной путь кажется всегда длинней и изнурительней.

В аптечке Мысыра оставалось два флакона глюкозы. Это его доля, вполне законно и справедливо. Уже не раз он намеревался проглотить спасительную жидкость, но каждый раз сдерживал себя. Ведь она может еще больше понадобиться кому-нибудь из его спутников. Все вконец измучены и обессилены жаждой.

Шли молча, понуро. Вдруг вместе с Аяпбергенем за спиной грузно рухнул Кунтуар. Упал ничком, как подкошенный. Остальные подбежали к нему. Кунтуар терял последние силы. Он бугрился на песке, точно кит, выброшенный штормом на берег. Еле прохрипел, просвистел:

— Оставьте нас... Идите дальше... Потом подберете... найдете, если сами... уцелеете...

Другого выхода не было... Пришлось оставить двух старых приятелей в пустынной степи. Мысыр на прощание влил каждому в рот по флакону глюкозы.

Пошли дальше. Ноги переставляли с трудом. Порой казалось, что топчутся на месте. Шли на север, раскрыв рот против ветра. Но и это облегчения не приносило. Тогда сбросили с себя одежду. Перед глазами плыли черные круги, сердце колотилось, подташнивало. Эх, обрушился бы вдруг с неба ливень! Какое бы это было наслаждение! Только, кажется, за все лето не выпало здесь ни одной дождинки.

На востоке начал алеть горизонт. Короткая летняя ночь была на исходе. Если по прохладе им не удастся добраться до жилья, считай, конец. До следующей ночи им не дотянуть.

Шли. Падали. И вновь шли. Впереди по-прежнему Карамерген. За ним, след в след — Мысыр. Значительно поотстав, брел Дильдабай.

— Кареке, как по-вашему, скоро? — спросил, зайдя сбоку, Мысыр.

— Уже недолго, дорогой. Да вот беда, с места почти не двигаемся...

— Давайте прибавим ходу.

— Ойбай... дяденьки-и-и... — раздался сзади дурной голос.

Оба оглянулись. Дильдабай сидел на корточках, прижав руки к животу.

— Что случилось?

— Ты что, бедный?

— Горит все... внутри, дяденьки... Не могу больше... Кажется, умру сейчас... умру...

— Брось, не говори глупостей, милый. До озера уже рукой подать. Вставай. Крепись! Ты ведь джигит, молодой совсем... Вот я, старик дряхлый, и то иду, держусь...

Однако ноги уже не держали Дильдабая. Пришлось и его оставить. А через некоторое время выдохся и старый охотник. Он стал все чаще спотыкаться, потом упал возле чахлого куста полыни. Мысыр растерянно опустился рядом.

— Прости меня, старика, дорогой... — произнес охотник. — Видишь, не могу... сил нет. Но ты не мешкай. Держись справа от Темир-казыка<sup>1</sup> и иди все время вперед. Вскоре выйдешь к старому зимовью. Сразу же за ним пойдут барханы. А в барханах — озеро. Вокруг камыши, куга... Там люди. Возьмешь подводу и приедешь за нами... Ну, иди. Да поддержит тебя дух добра — Кыдыр Алейкисалам!..

Получив благословение старика, Мысыр отправился в путь один. Он потерял представление о времени, ему чудилось, будто он идет целую вечность. А зимовья все не было. Может, давно уже прошел мимо! Взошла заря. Звезды поблекли. Еле заметен еще Темир-казык. А может, это и не он вовсе... Надо спешить. Надо собрать все силы. А то собьется с пути, и тогда они все погибнут. На ногах будто колодки. Велик был соблазн снять ботинки, но не дай бог, еще занозишь ногу. На брюхе далеко не уползешь. Глаза словно пленкой затянулись: все вокруг зыбится, как в тумане. В ушах шумит. Мысль отупела. Идет, тащится, точно в бреду. Вот померещилось огромное море. Он купается, плывет по волнам, размашисто загребает. Вот он вышел на берег. Рядом стоит лодка с парусами. Она полна воды. Господи, да она сейчас перевернется, затонет...

---

<sup>1</sup> Темир-казык — букв. «железный кол»; Полярная звезда.

Он напрягается, скрежещет зубами, лишь бы не потерять сознание. Смутно сообразил, что дошел до древнего развалившегося зимовья. Где-то лениво, сыто брехали собаки. Или ему только показалось... Нет, кажется, добрал до жилья, до людей. Значит, ушел-таки от смерти... Жив, жив, жив...

Он еще нашел в себе силы обойти зимовье, дотащить-ся до бархана, заросшего чахлым кустарником, но подняться на него не смог. Последняя преграда, последний перевал. Он падал. Поднимался. И вновь падал. Полз упрямо, зло, на животе, упирался ногами, откатывался назад, вниз, и опять лез на гребень бархана, цепляясь за колючки, за кусты, полз по-черепаший. Песок забил ему рот, лез в глаза. Колючие кусты в кровь изодрали руки, лицо. Но он не замечал ничего, не чувствовал боли. Он кричал изо всех сил, звал на помощь, но не слышал собственного голоса, ибо голоса не было.

Наконец-то, после долгих и невероятных усилий он все же вскарабкался на вершину песчаного перевала и перед его глазами открылась прозрачная гладь воды. На берегу озера стояли пять-шесть аккуратных юрт — маленький аул скотоводов. Перед юртами, возле продолговатых ям с крутобокими казанами, возились, хлопотали женщины. В лучах раннего солнца необычно белели их жаулыки, а голоса при утренней тиши слышались далеко-далеко...





Сегодня Абсаттар был особенно не в духе. Нынешней зимой у районного уполномоченного было много хлопот с новым, только в прошлом году созданным овцеводческим совхозом «Изобилие», а непредвиденный значительный падеж скота и вовсе лишил его покоя. На недавнем бюро районного комитета партии директор совхоза получил последнее предупреждение, Абсаттару же пришлось выслушать немало упреков. Конечно, как начальник районного сельхозуправления и член бюро райкома он нес большую ответственность за все нелады, хорошо сознавал свою вину, и потому не жалел ни себя, ни других: чуть ли не каждый день, встав спозаранок, мчался на машине в «Изобилие». Однако каких-либо заметных сдвигов в делах совхоза пока не намечалось. Директор — нерасторопный, вечно заспанный — не проявлял должного усердия в руководстве хозяйством. Вот и сегодня уполномоченный приехал из района, поднявшись чуть свет, даже стакана чаю не проглотив, а этот товарищ все еще сла-а-дко похрапывает в постели. Абсаттар возмутился, вспылil, накричал в сердцах на невинную жену директора, которая сидела у порога и, позевывая, что-то мешала мутовкой в жбане.

— А ну, разбуди своего... бесстыжего! Тут голова кругом идет, не знаешь, за что браться, а этот дрыхнет! Есть у него хоть капля совести?

Жена директора услужливо кинулась в дом, а упол-

номоченный в нетерпении начал ходить взад-вперед по двору.

Вскоре выскочил директор, въерошенный, наспех одетый, смущенный. Был он значительно старше Абсаттара, седой и обрюзглый, однако уполномоченный находился в таком состоянии, когда невозможно соблюдать учти-вость перед возрастом.

— Слушай, ты хоть о чем-нибудь думаешь, товарищ директор?! Стыд-то у тебя есть? Или в дырявой торбе его оставил? Времени сколько — знаешь?

— Где-то около шести... — неуверенно промямлил директор.

— Ишь ты, «около шести»... А восемь не хочешь? Восемь!! Последний бездельник, и тот в это время уже на ногах... А ты-то чего лежишь, Патшабаев? После каких-таких праведных трудов?

— Абеке...

— Э, оставьте... Я вас просто слушать не хочу! — Абсаттар неожиданно перешел на «вы», что окончательно доконало директора. — Чувствую, не сработаемся мы с вами. Нет! Видно, на том бюро товарищи слиберальничали, больно мягко с вами обошлись...

Директор растерянно заморгал, не на шутку испугался. Он, разумеется, понимал, что по работе, бывает, и не такое говорится, но последнее бюро еще живо в памяти. Он чувствовал: еще один такой нагоняй, и судьба его решена. А до пенсии рукой подать. Патшабаев с укоризной покосился на уполномоченного. Что ж... молодым у нас дорога, это верно. И все же порой поднималась в нем необъяснимая досада. А помнят ли эти молодые да энергичные, благодаря кому они процветают? Кто вынес все тяготы военного лихолетья? Кто с честью вышел из всех испытаний? Не мешало бы им почаще напоминать об этом. Не то забудут в повседневной суете...

— А ну, скажи, — опять перешел на «ты» уполномоченный, и в голосе его директор на этот раз уловил мягкие, примирительные нотки, — сколько овец пало за вчерашний день по твоей милости? Как там дела на третьей ферме?

— Дела... так сказать... несколько... — Патшабаев запнулся, не зная, с какого краю пристроиться к начальнику.

— Оу, чего юлишь? Скажи все как есть!

— Конечно, правда превыше всего... Сегодня ночью на третьей ферме замерзло десять овец.

— Замерзли, или с голоду околели?

— Да, погода... сами видите какая, Абеке...

— Какая?

— Ну... это... неблагоприятная.

— А для того, чтобы дрыхнуть до обеда — благоприятная? — усмехнулся уполномоченный и тут же резко приказал: — Садись в машину! Поехали!

Зачем Патшабаеву чужая машина, когда собственный газик у ворот стоит? Абсаттар сам сел за руль: уже неделю он обходился без водителя. Машина Патшабаева сходу вырвалась вперед. Директорскому шоферу все ухабы-рытвины были хорошо знакомы, и газик послушно мчался по разбитой степной дороге. Уполномоченный старался не отставать, однако с непривычки вскоре устал, и с раздражением нажал на клаксон. Передняя машина резко затормозила, директор высунулся, повертел длинной шеей.

— Эге, что случилось?

— Что вы гоните, словно невесту украли?! Потихонько можно? Все печенки себе отбил!

Директор довольно улыбнулся. Уполномоченный в сердцах махнул рукой, дескать, поехали дальше, — и хлопнул дверцей.

Вскоре перед глазами путников открылось зимовье третьей фермы. В этих краях Абсаттару раньше не приходилось бывать, поэтому он внимательно вглядывался вокруг. Чабаны расселились подальше друг от друга. Так, конечно, удобней: не перемешаются отары.

У высокого, с шиферной крышей дома юркий газик остановился. Тут же подъехал уполномоченный. Из-под навеса выскочил огромный пестрый кобель и гулко, простуженно залаял. Директор, неуклюжий в толстой зимней одежде, с трудом вылез из кабины и хриплым, густым басом прокричал:

— Эй, кто тут есть? Выходи!

На крик вышел черный увалень в потрепанном лисьем треухе, овчинном полушубке, в громадных, войлоком отделанных сапогах. Должно быть, чабан нечасто пользовался бритвой: лицо было обметано густой щетиной.

Поздоровались.

— Ну, чего стоим? Заходите в дом!—сказал чабан.

Директор вопросительно глянул на уполномоченного, но тот хмуро заметил:

— Давайте сначала пройдемся по кошаре.

— Хорошо...— поспешно согласился директор и представил хозяина.— Это, Абеке, гордость нашего совхоза — Сармантай Айдаров. В прошлом году, может, помните, он получил от ста овцематок сто восемнадцать ягнят.

— Очень приятно!..— кивнул уполномоченный, с ног до головы оглядывая чабана. Про себя с восхищением подумал: «Такому никакой буран не страшен!» Фамилия чабана была ему знакома, но видел его впервые. В этом районе Абсаттар работал всего лишь неполных два года и еще не всех передовиков знал в лицо.

Похвала директора заметно смутила чабана, и уполномоченному это понравилось. Он по опыту знал: простые, настоящие труженики всегда поразительно скромны и искренни.

Уполномоченный приветливо кивнул чабану, который, видно, приходился ему сверстником, и улыбнулся:

— Ну что, хваленый джигит, может, покажешь нам свои владения?

Сармантай повел гостей к кошаре рядом с домом. У чабана была своеобразная походка; его все заносило то в одну, то в другую сторону, точно неравномерно навьюченного верблюда.

Кошара выглядела вполне прилично. Ни щелей, ни прогнивших подпорок. Только не мешало бы основательно почистить, постелить сухого сенца, иначе при таком морозе, да еще в сырости бедняжкам-овцам и околеть не мудрено. Уполномоченный, чуть нахмурясь, спросил:

— Почему так запущено?

— Не успеваю убирать,— пожаловался чабан.— Помощник мой в город уехал... на курсы...

— Да, да!— поспешил директор чабану на помощь.— Беда! Всюду не хватает людей.

Теперь они направились к открытому загону, огороженному сухими суковатыми ветками джиды. Овцы Сармантая особой упитанностью, пожалуй, не отличались, но и голодная смерть им не угрожала. Возле загона темнела довольно солидная скирда.

— Падежа нет?— поинтересовался уполномоченный.

И опять директор опередил чабана.

— Что вы?! У Айдарова ни одна овечка не подохнет. Уж если у него падеж, то у других мор начнется...

— Ксрмов достаточно?

— Какой там?!— вновь завелся директор.— Корма, что совхозу отпустили, давно кончились! Абеке, надо бы этот вопрос ребром поставить на бюро.

Уполномоченный ничего не ответил. Внимание его привлекли плотно сбившиеся в кучу овцы. По углам загона лежали охапки клевера, но — странное дело!— овцы почему-то почти не дотрагивались до него. Даже явно отошавшие, с провалившимися боками матки нехотя касались его губами и тут же понуро застывали, задран морды. С голоду, бывает, овцы друг с друга шерсть сдирают, а эти отчего-то тоскливо глядят по сторонам. Уполномоченный удивленно посмотрел на чабана, собираясь поделиться своими сомнениями, но тут взгляд его случайно упал на иссохшую пустую колоду у стенки, и ему сразу все стало ясно. Настроение его мигом испортилось, как погода в ненастный осенний день. В голосе послышались гнев и раздражение.

— Эй, товарищи, что же это получается?! Скотина-то непоенная!

Директор виновато заморгал и растерянно уставился на чабана. Тот вконец смутился, начал носком сапога ковырять землю.

— Ну, как это?.. Поил... немного, правда...— выдавил, наконец, он из себя.

— Что значит «немного»?!— распалялся Абсаттар.— Ты что, всех, кроме себя, за дураков считаешь?! Снег на дне колоды видишь? А когда шел снег, помнишь? Три дня назад! Три дня, значит, в твоей колоде капли воды не было! Потому твои овцы и отворачивают морды от клевера. Они от жажды изнывают! Эх, вы... бестолочь!..

Наблюдательность уполномоченного поразила директора. Он почувствовал себя обескураженным. Действительно, как он мог не заметить снега на дне колоды? Он яростно обрушился на своего передовика:

— Сколько же можно твердить? Почему не следите за скотиной?! Что вы за олухи такие?! Ну, подождите! Я вам всыплю на партсобрании. Вззоете у меня!..

— Где же воду взять?— начал оправдываться чабан, задетый за живое.— Мотор не работает. Сказал завфер-

мой, чтобы моториста прислал... Теперь и завфермой пропал, и моториста нет. А я один что могу?..

— Бестолочь! Трепачи!— Абсаттар гневно махнул рукой и решительно направился к своей машине.

В это время на пороге дома показалась женщина в серой пуховой шали. Разгневанный уполномоченный рассеянно скользнул по ней взглядом, рванул дверцу машины, и только занес было ногу на подножку, как услышал за спиной насмешливый грудной голос.

— Ну, конечно, какой же начальник добрых людей не бранит!

Абсаттар, все так же хмурясь, обернулся — и замер, глядя на подошедшую к нему вплотную женщину.

Это была Шрынгуль.

У Абсаттара гулко заколотилось сердце, кровь ударила в лицо, губы дрогнули, невнятно прошептали:

— Здра-австуй...

Неожиданная встреча его ошеломила. Он преобразился на глазах, стал какой-то смирный, кроткий. К счастью, кроме них, вокруг никого не было. Директор и чабан свернули за угол загона. И оттуда доносилась ругань: видно, крепко озлился директор на своего передовика, осраившего его перед районным начальством.

— Ой, ка-ак ты изменился!— Она не то улыбнулась, не то усмехнулась.

— Изменишься поневоле...— Абсаттар потерял красные от бессонницы глаза. Голос его прозвучал тихо, устало.— Стареем ведь... Да и работа такая... Нелегко.

Шрынгуль с нескрываемым любопытством разглядывала его.

— Не-ет... ты, пожалуй, похорошел...— Она цокнула изумленно.— Пополнел, гладкий стал. Вон и животик выпирает... Неплохо, видно, живешь, да?

В ее голосе Абсаттару почудилась насмешка. Он хотел ответить в таком же тоне, но не смог. Сколько лет прошло, сколько воды утекло!.. В шестьдесят четвертом они расстались. Как чужие. Навсегда. Ничего уже не связывало. И вот встретились нежданно-негаданно в степи, хмурым зимним днем на чабанском стойбище. Впрочем, что в этом удивительного? В жизни всякое случается. И встречи, и разлуки. От них бывает грустно, или радостно — все равно. Какое это имеет значение?.. Так подумал про себя Абсаттар и сразу же овладел собой.

— Ну, я спешу...— Он кивнул в сторону директора и чабана, которые в это время направились к ним.— Тот джигит, видать, твой муж?

— Да, муж... Неужели и в дом не зайдешь? Куда в такую холодину торопиться?

Абсаттар опешил. Он удивлялся ее спокойствию, выдержке. Когда-то они жили под одной крышей, грелись у одного очага, и она была такой же своенравной, взбалмошной. Неужели ничуть не изменилась?.. А куда ему в самом деле торопиться? Отогреться бы не мешало, да и поесть-попить — тоже. С раннего утра на ногах...

Однако, когда подошли директор с чабаном, он решительно отсекал эту соблазнительную мысль и, холодно попрощавшись, сел в машину. Шрынгуль при людях не осмелилась что-либо сказать. Он круто развернул машину, чтоб выехать на дорогу, и на повороте покосился в окошко. Шрынгуль стояла одинокая, грустная. Недавняя игривая улыбка исчезла. Склонив голову набок, она заправляя под шаль растрепавшиеся волосы и грустно смотрела ему вслед... Сердце Абсаттара на мгновение сжалось. Неужели за все эти годы он так и не смог забыть ее? Ай, нет, надо выкинуть из головы эту блажь. Не мальчишка ведь — остепенившийся мужчина. Ему нужно объездить все фермы и скорее вернуться в район. Однако смятение и растерянность так и не покидали его весь день. Он посетил еще две-три фермы, поспешно, на ходу, отдал какие-то незначительные распоряжения, сожвав, что сегодня он уже не работник, не советчик. В таких случаях он предпочитал оставаться с собой наедине, подумать, поразмыслить. К обеду он вернулся в район, закрылся в своем кабинете, предупредив секретаршу, что должен готовить материал для бюро, и чтобы она никого к нему не пускала. Уединиться, однако, не удалось. Едва он опустился на стул, как затрезвонил телефон. Он схватил трубку, раздраженно пробурчал:

— Я ведь только сейчас вас предупреждал!

— Извините, агай... Я...— секретарша запнулась.— Вас вызывает Гафеке...

— Куда?

— К себе, в райком...

Ничего тут не поделаешь. Гафеке, первый секретарь райкома, больше всего ценил в людях пунктуальность и аккуратность. Абсаттар оделся и поспешно вышел.

Нежданная встреча на чабанском стойбище всерьез растревожила Абсаттара.

...То было весной. Все вокруг буйно цвело, зеленело, как всегда в конце мая, когда природа расцветает вдруг в пышной, пьянящей красе, точно невеста на выданье. Держась за руки, шли они по безлюдной степи, часто останавливались, очарованные, потрясенные радужными красками степи. Только теперь Абсаттар почувствовал, как за время учебы соскучился, истомился по родному аулу, по первозданному диву отчего края. Он с наслаждением вдыхал хмельные запахи степи, подставлял молодую грудь легкому бодрящему ветерку. У ног его колыхалось, мягко шелестело упругое, сочное разнотравье, будто накатывалась волна за волной в безбрежном море. То здесь, то там островками выделялись тамариск и колючий тростник, которые сейчас, в пору цветения, придавали степи неповторимый оранжево-красноватый оттенок. На склонах редких песчаных холмов пылали, пламенели тюльпаны. По голубому небу плыли одинокие белесые тучки-барашки. Низко-низко, над самой головой, стремительно проносились ласточки, посвистывая крылышками.

Все так же держась за руки, они далеко ушли от аула и свернули к устью большого канала. К лету берега канала обычно зарастали камышом, тростником-кураком, душистой мятой, а пока здесь, на пологом берегу запруды, красовались, источая острый сладковатый аромат, две раскидистые джиды — пышные плодовые деревца, которые были в самом цвету.

Они, скользя по обрыву, спустились к каналу, подошли к дикой джиде, легли на нетронутую, нежную травку под ней. В тени было прохладно и тихо, даже ветерок не доходил сюда. На толстых корявых сучьях джиды застыла янтарная древесная смола, и от густого запаха ее, перемешанного с запахом цветов и трав, сладко кружилась голова. Вытянувшись на податливо мягкой, как длинный ворс, траве, он с тайным восторгом смотрел на девушку. Она сидела, опираясь на руки и сильно запрокинув голову, и любовалась густой листвой джиды.

Абсаттар облизнул сухие, пылающие губы, судорожно повел кадыком. Ах, до чего же хороша эта Шрынгуль,



его Шрынгуль!.. В глубине раскосых глаз, затененных длинными, загнутыми кверху ресницами, притаился таинственный огонек, который вот-вот разгорится черным пламенем. Нос прямой, маленький, с едва заметной горбинкой. Губы, полные, красные, нервно трепетали, вздрагивали, точно чуткий лепесток цветка под легким дуновением. Во всем облике цветущей восемнадцатилетней девушки Абсаттар не находил никакого изъяна. На смугло-матовом лице ни единого пятнышка; на щеках играет румянец. От нежного, чуть наметившегося изгиба между круглым подбородком и трепетной гладкой шеей, просто невозможно было оторваться. Светлое ситцевое платье плотно облегалo точеную легкую фигурку. Из-за глубокого выреза платья упруго выпирали твердые девичьи груди. Узкая светлая полоска, нетронутая загаром, смущала и восхищала Абсаттара.

Он не мог налюбоваться девушкой. Себя Абсаттар тоже считал парнем — не промах. Конечно, красотой особенной не выделялся, но в конце концов для мужчины это не главное. Ростом, правда, маловат, да шея, может, толстовата, зато во всем остальном — порядок. И лицом недурен: ни рябой, ни конопатый. Брови густые, черные; в круглых, больших, чуть сероватых глазах — яркий блеск. К фигуре тоже не придерешься: как-никак занимается в гимнастической секции при институте. К тому же немного играет на домбре. Разве в двадцать один год этих достоинств мало? В городе, случалось, забавы ради приударял за девушками, но ни одной по-настоящему не увлекся. Да и зачем они, когда у него есть Шрынгуль?!

Да... Шрынгуль — прелесть. Верное ей дали имя — Благоухающий цветок. Абсаттар и мизинчика ее не стоит. Ну, что из того, что он студент четвертого курса зооветеринарного института? Что отец — председатель колхоза? На авторитете отца долго не продержишься. Нет, что ни говори, не ровня ей Абсаттар. И ростом она, пожалуй, чуточку выше. Смущается джигит, весь как-то внутренне съеживается, когда за их спиной аульные остряки поют недвусмысленную песенку:

За селом цветет джида,  
Той джиде нужна вода,  
Парню рослому под стать  
Низкорослая жена.

Один, он никому ни в чем не уступит, а рядом с Шрынгуль всегда невольно тушется. Они, можно сказать, выросли вместе. Еще в школе нравились друг другу, дружили. Потом, уже в старших классах, былая непосредственность в их отношениях вдруг исчезла, при встречах оба начинали краснеть, смущаться. А годы шли. Он поступил в институт, Шрынгуль «провалилась», вернулась в аул и стала пионервожатой в родной школе. Приезжая на каникулы, Абсаттар каждый раз встречался с ней. Он и теперь робел, не осмеливался даже прикасаться к ней, вел долгие и нудные философские беседы. Вообще в юности Абсаттар был неисправимым мечтателем, очень впечатлительным, наивным. Книжки читал запоем, при этом спешил скорее рассказать о прочитанном самым близким друзьям. Втайне он подражал любимым героям.

Когда женился старший брат, Абсаттар, отпросившись на три дня, приехал в аул. На свадьбе, на молодежных вечеринках они с Шрынгуль не расставались. Тетушки посмеивались, подтрунивали над ним: «Теперь твой черед, шалопай! Когда приведешь свою красавицу?» Он и сам был непрочь жениться, и, взбудораженный свадебным торжеством, решил при первом же подходящем случае откровенно поговорить с Шрынгуль. И вот такой случай теперь подвернулся. Но как расскажешь о своем сокровенном желании? Он растерянно, беспомощно смотрел на ее пылавшие щеки. Господи, какой он мямля, бестолочь, если до сих пор ни разу не обнял ее за тонкую, хрупкую талию. Все его существо сейчас охватило одно неотступное, нестерпимое желание — прильнуть к ее полным, трепетным губам... И больше ничего, ничего... От одной этой мысли, от одного сознания, что это вполне возможно, доступно, ему становилось жарко, перехватывало дыхание, тяжело билось сердце... А ведь он не был зеленым юнцом. Студент четвертого курса вовсе не избегал красивых девушек. Помнится, когда со строительным отрядом ездил на целину, столкнулся как-то в тамбуре с одной смазливой бойкой девчонкой и всю дорогу с ней целовался, обнимался, еще не успев даже толком познакомиться. Но... то совсем другое! С Шрынгуль он так не посмеет. С ней он почему-то теряет всякую волю и мужество. Даже «греховные» мысли от себя старается отогнать.

Здесь, под цветущей джидой, он и вовсе не находил себе места, голова кружилась не то от медово-сладких запахов цветов, не то от любовного жара, бродившего в жилах.

Шрынгуйль молчала. Иногда, встрепечувшись, всматривалась вдаль, точно в ожидании кого-то или чего-то. Наконец, он не выдержал и, решившись, схватил ее за локоть. Она замерла, затавив дыхание. А он, едва сдерживая неведомую сладостную дрожь, все гладил и гладил ее обмякшую обнаженную руку... Шрынгуйль чуть подалась к нему, но у Абсаттара словно отнялся язык.

Он не знал, не чувствовал, сколько прошло времени. Вдруг девушка резко вскочила, с досадой оттолкнув его руку,правила платье,отряхнула подол. Между сросшихся бровей легла складка. Он знал: эта складка появлялась, когда Шрынгуйль была чем-нибудь недовольна. Но он не понял решительной перемены в настроении любимой. Опять завелся, заговорил о том, о сем, даже пытался шутить, но Шрынгуйль была задумчива и грустна. Он, однако, не особенно расстраивался: крутые перепады в ее душевном состоянии случались и раньше. Они расстались, договорившись встретиться вечером за аулом. На свидание Шрынгуйль не пришла, а утром он уехал в город, в институт.

Через полмесяца его настигла черная весть. Какой-то лихой шофер силком увез Шрынгуйль к себе, но вслед бросились братья и доставили девушку благополучно домой. Потом в районном центре при всем честном народе состоялся суд, и шофера-насильника приговорили к трем годам заключения. Опозоренная, униженная Шрынгуйль в отчем доме оплакивала свою судьбу...

Отчаяние захлестнуло его. Трое суток, точно окаменев, лежал он в общежитии. Тщетно пытались его утешить друзья. На четвертый день он отправился в пивнушку на Новом рынке и напился до одури. Но этого ему показалось мало. Он вышел на улицу, начал приставать к прохожим, затеял драку. Ночью, весь в синяках и ссадинах вернулся в общежитие, набросился на приятелей: «Где вы только шляетесь, придурки, когда меня уличная шантрапа избивает?»

Эх, молодость, молодость! Вспомнишь твои бесшабашные похождения, и на душе вроде бы светлеет, и улыбнешься невольно. Кто поверит, что он, теперь член

бюро райкома, начальник сельхозуправления, солидный, степенный мужчина, когда-то дебоширил, яростно бился в уличной драке? И за что? Из-за обманутой любви! Эхе, не зря, видать, вздыхали в старину: «Где вы, мои шальные двадцать пять?!» Да-да... вздыхай, не вздыхай,— тех лет уже не вернешь. Едва до половины четвертого десятка дошел, а виски уже посеребрились. Дни проходят в сплошных заботах. Нет, он не относит себя к напористым карьеристам, однако всегда старается быть в деле предельно честным и добросовестным, не ударить лицом в грязь. Даже семье уделяет мало внимания, с родными, близкими еле-еле поддерживает связь. Одно у него на уме и на устах: «Работа, работа...» Иногда, бывает, собираются сослуживцы по поводу какого-нибудь торжества, начинают рассказывать что-нибудь забавное из своей жизни, а он не участвует в таких беседах, молча сидит в сторонке. И совсем не потому, что ему нечего вспомнить, просто опасается разбудить, растревожить затаенное, сокровенное в сердце. Да и не к лицу, пожалуй, в его положении смешить праздный люд рассказами о приключениях и похождениях юности...

Самое большое горе со временем забывается. И он тогда думал, что навсегда забыл Шрынгуль, охладел к ней, вырвал из сердца. Напрасно так думал... Приехал на летние каникулы в аул, раза два случайно увидел ее, странно притихшую, печальную, и вновь все в нем всколыхнулось. Наконец, не выдержал, сам пошел к ней в школу. Долго разговаривали в тот день они наедине в большом, непривычно пустом классе. Долго плакала Шрынгуль, про невинность и чистоту свою говорила, а потом вдруг кинулась на шею джигита, обвила его белыми руками, и, задыхаясь, прошептала: «Одного тебя люблю, милый мой, желанный мой...» И разомлел Абсаттар от этих слов и объятий. Прижал ее к груди, шелковистые волосы погладил, утешить попытался. Но вновь подвела его проклятая робость, опять не осмелился коснуться призывно пылавших алых губ и от счастья, от острой жалости и собственного великодушия сам расчувствовался и прослезился... Да-а, уж кого-кого, а Шрынгуль он любил, любил беззаветно, пылко. Что там говорить... Вскоре после того состоялась их свадьба.

Он живо помнит ту душную летнюю ночь. Уже были совершены все обряды. Невесту вывели из-за шелкового

полога, благословили их брак, и расторопные тетушки постелили брачную постель в отведенной для молодых комнате. Шрынгуль возилась в углу, шурша одеждой. Он растерянно топтался у порога, все еще в своем свадебном костюме. Потом она подошла к нему, покрасневшая, горячая, в чем-то белом, длинном, прижалась, подставляя полные, жадные губы.

— Ну чего же ты... что ты... ягненок мой, миленький,— шептала она.— Ну, пойдем же...

Он ошалел тогда от любви. Осунулся. Похудел. Он упивался неожиданно обрушившимся на него счастьем. До самой осени длились эти сладостные, хмельные дни и ночи. Осенью он уехал заканчивать институт.

Через год Абсаттар вернулся дипломированным зоотехником. Отец с радостью принял его в свой колхоз, делился опытом, учил непростому искусству руководить хозяйством. Дельным человеком был его отец, большим почетом среди аулчан пользовался. Да только младшего сына в люди вывел, как погиб в глупой автомобильной аварии. Абсаттар с головой окунулся в бесконечную колхозную работу и за несколько месяцев вполне освоился в своей новой должности. Но тут пришла пора служить. После октябрьских торжеств родные и близкие проводили его в армию. Среди провожавших была, конечно, и Шрынгуль.

Там, за границей, под Дрезденом, куда его отправили для исполнения воинского долга, Абсаттар тосковал по родному краю, по своей ненаглядной Шрынгуль... Зимой он заслужил отпуск и, когда прибыл на знакомый вокзал, то в большой толпе встречающих сразу увидел молодую жену в белой пуховой шали.

Десять суток пробыл он тогда в ауле, как бы заново ощутив, испытав всю сладость вольной жизни. Братья еще не успели разделить немалое отцовское имущество. Только большой дом поделили между собой полюбовно. На долю его и Шрынгуль достались три просторные комнаты. Молодые, беззаботные, они щедро и пылко предавались своей любви, без оглядки одаривая друг друга счастьем. Абсаттар к тому времени возмужал, осмелел, охотно заигрывал, шутил с женой. Посмеивался над ее ненасытностью: «Да как ты, голубушка, без меня тут обходишься?!» Шрынгуль загадочно, томно улыбалась. Она находилась в той недолгой прекрасной поре, когда

женщину невольно сравнивают с павой. Еще заметнее пылал румянец на ее тугих щеках, еще пышней вздымались горячие, упругие груди. На прощание она при всех бросилась ему на шею. И он на многолюдном перроне замечал только ее, одну ее, и, забыв про мужское достоинство, про сдержанность, презрев обычаи предков, среди белого дня жадно обнимал, тискал, ласкал, целовал родную жену. Тетушки от смущения себя за щеки щипали, отворачивались, за рукав его одергивали: «Да уймись ты! Бабу, что ли, не видел? Постыдись людей. Срам какой, ойбай».

Какие были времена, о боже! Дух захватывает от одних воспоминаний. Никогда никто больше его так не встречал, не провожал, не любил.

Эх, Шрынгуль, Шрынгуль... Горька была твоя измена!

Всего лишь год спустя, когда до возвращения мужа остались уже не месяцы, не недели — считанные дни, в одну темную ночь исчезла она вдруг из дома, убежала с проходимцем — все с тем же лихим шофером, который увез ее однажды насильно, и теперь, отсидев три года, шлялся без дела по аулам. Этот необъяснимый, бездумный, безумный порыв Шрынгуль на всю жизнь потряс Абсаттара. Почему?.. Почему?!. На этот вопрос, сколько бы ни думал, он не находил ответа. Ведь была же, была любовь! Он души в ней не чаял. Она тоже не однажды клялась в верности. Она не знала лишений. Ей все было доступно, все позволено. Старший брат с женой чуть ли не на руках ее носили. И он никогда, ни разу ее не обижал. Так почему... зачем она так поступила? Какое черное затмение на нее нашло? Что связывало ее с тем насильником? Если необузданная страсть, то как она могла отдать его под суд тогда, три года назад? Напрасно, в поисках ответа, ломал он себе голову.

Только и с тем лихим шофером недолго длилась ее супружеская жизнь. И года не прошло, как она, вся истрепанная, измотанная, вернулась к отцу. В школе она уже не работала. Вскоре Шрынгуль подалась в город на какие-то шестимесячные курсы. Потом пошли слухи, что и там вышла замуж. Что ж... молодая, видная, такая в одиночестве томиться не станет.

Больше Абсаттар ее не видел. Сам он год-другой ходил в холостяках, старался забыться на работе, потом

высватал дочь одного пастуха, обитавшего в пустыне, в барханах, и, таким образом, раз и навсегда решил для себя «женскую проблему». Жена — как жена, значительно моложе его, скромная, тихая, услужливая. Детей рождает исправно: за восемь лет пятерых подарила. А за детьми нужен уход, и ничего не осталось молодой жене, как быть домашней хозяйкой. Не особенно приметна Кыздаркуль, но и недурна: в меру полна, в меру смугла. До разных сплетен, кривотолков не охотница. Что еще? В доме мир да лад. Он доволен, она довольна, и дети растут. Семья, одним словом...

Абсаттар давно уже живет отдельно от брата. Вернувшись из армии, год проработал зоотехником в родном колхозе, и хорошо работал, всю душу вкладывал, потом его перевели в район, в сельхозуправление. И там он был на хорошем счету. Через два года назначили директором в отстающий совхоз. Должно быть, верили ему. И действительно: энергичный, настойчивый, хорошо разбирающийся в хозяйстве (не зря проходил отцовскую школу!), он за три года сумел вывести захудалый совхоз в передовые. О том свидетельствуют ордена и медали на его груди. Шесть лет руководил он совхозом, и люди уважительно говорили о нем: «Толковый мужик! В отца пошел». Второй год руководит сейчас сельхозуправлением в соседнем районе. Вечно в делах и заботах, он как-то незаметно отошел от того, что называется личной жизнью. Постоянно занятый, всегда на людях, он привык держаться свободно, уверенно, отдавать четкие и точные распоряжения, которые должны выполняться незамедлительно и неукоснительно. Говорили, что он суров, порой излишне требователен, не терпит, когда ему возражают. Может быть... В тридцать пять лет он уже изведal и хорошее, и плохое, достиг почета и уважения, жизнь, можно считать, сложилась вполне удачно, хотя сам Абсаттар не чувствовал большого удовлетворения и втайне считал, что не вкусил еще сполна той доли, которая отпущена ему судьбой. Разве в желаниях человеческих есть предел?..

После встречи с Шрынгуль он несколько дней ходил сам не свой, словно путник, сбившийся вдруг с привычной дороги. И к работе душа не лежала. Прежние уверенность и деловитость точно разом исчезли. Чтобы не выказать своего душевного смятения, он старался не

задерживаться в кабинете, с утра до вечера мотался по колхозам и совхозам. «Изобилия», однако, избегал. Раза два говорил с директором по телефону, расспрашивал подробно про тамошние дела.

Оставаясь наедине с собой, Абсаттар ругал себя последними словами. Как он может до сих пор думать о Шрынгуль? Ребячество! Безумие! Тоже нашел себе «ангела чистой красоты»! Мало ли она над ним глумилась?! Ведь и в любви, и в страсти должна же быть какая-то логика. А женщина она пустая, ветреная, сама его и околдовала, сама же и бросила. Так какого дьявола, спустя столько лет, она его все еще тревожит? Ай, видно, не мужчина он, безвольный, бесхарактерный тюфяк, хоть и ходит в начальниках. Не зря, должно быть, в молодости зачитывался всякими книжками и строил наивные мечты. Вся его суровость, сухость, строгость — одна лишь видимость, напускное. Он только внешне кажется жестким, на самом деле любой пустячный случай в состоянии вывести его из душевного равновесия и обнажить его легко ранимую, беззащитную душу. Выходит, он и не знал об этом... Теперь надо признаться, что за всю свою жизнь он по-настоящему, всем сердцем любил только одну женщину. И хотя немало причинила она ему боли и горя, не однажды зло надругалась над его чувством, он, оказывается, не забыл, не смог забыть ее раскосые, с поволокой, глаза, затененные длинными, изогнутыми ресницами... Как это ни странно, как это ни ужасно даже, но он, солидный, почтенный мужчина, все еще откровенно любит эту трижды выходившую замуж, взбалмошную, непутевую женщину. И тут ничего с собой не поделаешь. Хоть смейся, хоть плачь...

\* \* \*

И вновь пришла весна. Все обновилось, зазеленело, заголубело, и буйно расцвела джида.

Абсаттар пришел сегодня на работу рано, настезь распахнул окна и присел к столу. Чистый утренний воздух, ворвавшийся в просторный, светлый кабинет, приятно бодрил тело. За окном шелестели густой зеленой листвой два могучих карагача. Меж их ветвей без умолку щебетали воробы. С улицы доносился грохот машин.



Начальник сельхозуправления покосился на календарь, находившийся всегда под рукой на длинном полированном столе, пробежал глазами все пункты намеченной на сегодня работы. Дел предстояло уйма. Ровно в девять подадут машину, и он отправится по совхозам, где сейчас в полном разгаре сев риса. После обеда — бюро. Рассматривается дело одного закоренелого, опасного кляузника. Подобный факт обсуждается на бюро впервые. Нужно до прихода машины ознакомиться с материалами этого сверхнеугомонного товарища... Абсаттар открыл ящик стола, достал красную папку, предназначенную для членов бюро, уткнулся в бумаги. Действительно, в них было немало любопытного.

Около девяти часов девушка-секретарь осторожно открыла дверь.

— Агай, к вам посетитель. Вы можете сейчас принять?

Абсаттар на мгновение оторвался от красной папки, расправил плечи. Он все еще находился под впечатлением неумейной фантазии кляузника и от удивления покачал головой.

— Что, не можете?— уточнила девушка-секретарь.

— Почему же?— улыбнулся ей Абсаттар.— Пусть зайдет.

Он даже не поинтересовался, что за посетитель пожаловал к нему с утра пораньше.

В дверях показалась молодая женщина в большом шелковом платке с кистями, в голубом атласном платье с пышными оборками, в приталенном камзоле. По роскошному наряду Абсаттар принял ее сначала за доморощенную артистку из районного Дома культуры, собравшуюся в концертную поездку по аулам, встал было из-за стола, но, встретившись с ней взглядом, от удивления чуть не присел.

Это была Шрыnguль.

Абсаттар на миг растерялся. Потом, все еще не зная, что делать, откашлялся, сердито сдвинул брови.

Шрыnguль, как ни в чем не бывало, шурша длинным платьем, с достоинством проплыла через весь кабинет, подошла к столу начальника управления и плавно опустилась в глубокое кресло. Потом улыбнулась обворожительно, насмешливо, скосила томные глаза на Абсаттара.

— Что, испугался? Душа ушла в пятки?— Она негромко рассмеялась.— Не бойся, не съем...

Абсаттар промолчал.

— Апырмай!— деланно удивилась она.— Холостым был, помнится, перед девушками немел. И сейчас еще такой же робкий. Ничуть не изменился, выходит?

— А зачем мне... меняться?

Он поднял глаза, с ног до головы осмотрел Шрынгуль. Она поймала его взгляд, выпятила пышную грудь, вся расцвела, просияла лицом. «А, смотришь...— говорил весь ее вид.— Ну, ну, разглядывай, любуйся!» Между тем она тоже не спускала глаз с бывшего супруга.

Э... это же не кто-нибудь, а Шрынгуль! Она почти не изменилась, хотя теперь и ей уже за тридцать. Правда, некогда тугие щеки сейчас чуть завяли, поблекли, возле глаз легли морщинки. Однако, глядя на нее, никто не подумает, что и у красивой бабы век короткий. А может, время шадит бездетных женщин? Хороша еще, стройна Шрынгуль! Года, конечно, все же сказываются: и осунулась малость, и огрубела, пожалуй, да и приталенный узкий камзол понадобился, чтобы поддержать отяжелевшие груди и подчеркнуть уже не девичий, уже не столь гибкий стан. А все же не скажешь, что это жена чабана, зимой и летом пропадающего на отгонном участке. Она скорей напоминает знаменитую артистку, вынарядившуюся в национальный костюм. Так и просится на обложку цветного журнала.

— Чем занимаешься?— спросил Абсаттар, торопясь нарушить столь затянувшееся молчание.

Шрынгуль усмехнулась, ответила резко, с вызовом:

— Чем занимаюсь? Случкой овец!

Абсаттар от смущения поерзал, откашлялся.

— А что мне еще делать?— продолжала Шрынгуль с упреком, будто кто-то был виноват в ее судьбе.— Учиться не пришлось. Так и осталась длиннополой бабой-дурехой... Это вот ты... вознесся... С такими, как я, небось и заться не желаешь...

Абсаттар выжидал. Интересно, куда она клонит? Наверное, по какому-нибудь делу пришла. Что ж... пусть говорит. Он отнюдь не прочь послушать этот знакомый приятный грудной голос.

— Ну, а ко мне, видать, ты совсем охладел, да?— неожиданно спросила Шрынгуль.

Абсаттар с досадой посмотрел на дверь: не дай бог, зайдет сейчас кто-нибудь, а они тут наедине досужий разговор плетут.

— На то есть причина. Однако к чему нам прошлое ворошить?

Наигранная усмешка слетела с ее лица. Пальцы нервно затеребили кисти большого шелкового платка. Абсаттар про себя удивился этой крутой перемене в ее настроении. Наступило тягостное молчание. Каждый думал о своем. А может, об одном и том же?..

Наконец она встрепенулась.

— Да-а... ты ведь человек занятой. Извини... У меня просьба...

Абсаттар кивнул.

— У мужа один-единственный братишка. Парень окончил десять классов и три года у брата помощником работает. Когда ты зимой приезжал, его не было. На курсы ездил... Теперь он учиться надумал, в институт собирается. А поступить нынче, говорят, очень непросто...

Такого поворота Абсаттар совсем не ожидал. Он заскучал, нетерпеливо посмотрел на часы.

— Не понимаю тебя, Шрыnguль. Я-то тут при чем?

— Если будет направление от совхоза, то, оказывается, принимают без конкурса. Так вот, мой благоверный ходил к этому... ну, как его... Патшабаеву, а тот руками-ногами отбрыкивается. Пусть, говорит, твой братишка еще год овец попасет. Дескать, не убежит учеба, еще успеет. Но так ведь нельзя! Где это сказано, чтобы брат чабана вечно за отарой слонялся?! Деверек у меня единственный, старательный. На брата надежды мало. Кто же, кроме меня, за него хлопотать-то будет?

Абсаттар задумался. Конечно, это совсем несложно — организовать брату передового чабана направление от совхоза. С директором он сейчас в хороших отношениях. Весной, когда на бюро опять зашел разговор о неблагополучных делах в совхозе «Изобилие», Абсаттар неожиданно для всех заступился за Патшабаева. Кто знает, зачем он это сделал? То ли поверил в незадачливого директора совхоза, то ли причиной его благосклонности была та случайная встреча с Шрыnguль... Вообще в то время с Абсаттаром творилось непонятное: он стал неузнаваемо добрым, снисходительным. Правда, недолго длилась та перемена.

Одним словом, достаточно поднять трубку и позвонить Патшабаеву, как деверь Шрынгуй тут же получит желанное направление. А дальше? Говорят, земля слухом полнится. По аулам поползут сплетни: дескать, начальник управления не устоял перед чарами своей бывшей не то жены, не то любовницы. Попробуй, заткни потом людям рты! Весь авторитет пойдет прахом. А у этого... как его... передового чабана, оказывается, ни чести, ни самолюбия. Или ему неведома ее бурная молодость? Не может быть, чтобы он не знал об их — Шрынгуй и Абсаттара — былых отношениях. Ай да Шрынгуй! По-прежнему загадки загадывает.

Немало времени прошло с той, последней встречи на чабанском зимовье. Абсаттар успел опомниться, вновь войти в привычный ритм повседневных забот, а теперь при виде Шрынгуй ему почему-то опять вспомнились те далекие весенние дни, когда так буйно цвела джида... Да, между тем и нынешним Абсаттаром, между той и теперешней Шрынгуй разница как между небом и землей. Ушло что-то сокровенное, невозвратное, ушло то, по чему, бывает, душа тоскует всю жизнь. И от этого особенно грустно.

И теперь за окном бушует весна, так же — в который раз! — цветет джида. И вся природа вокруг почти не изменилась. И только им двоим уже не изведать больше очарованья и счастья той весны, их весны.

Абсаттар наклонился к телефону, украдкой вздохнул. Молчала и Шрынгуй. Она понуро опустила голову и задумчиво теребила кисть шали. Неизвестно, о чем она печалилась. Видно, так и состарится он, не разгадав, не поняв душу этой женщины. В молодости, опьяненные любовью, они не сумели приглядеться друг к другу, а теперь поздно, слишком поздно... А в чем истинный смысл сегодняшнего визита Шрынгуй — то ли забота о младшем девере, то ли что-то другое у нее на душе — тоже определить совсем не просто.

Абсаттар помолчал, подумал и сказал неопределенно: — Ладно, посмотрим... Ведь до учебы еще не скоро. Не так ли?



## В ГОЛОДНЫЙ ГОД ЗМЕИ

Случилось это давно.

Тихий, незаметный аул, затерявшийся на плоской и почти голой, как пустыня, солончаковой равнине, называемой «Қырық жаин» — «Сорок сомов», за суровую зиму с джутом лишился всего скота. Жили казахи кочевой жизнью, не пахали, не сеяли, и сена впрок не заготавливали, как это делали другие народы, оседлые и знавшие толк в земледелии, а потому после нередкого поголовного падежа скота степняки обрекались на голод, на бедствие, на мор.

Еле дождались весны, пригожих, солнечных дней. Жизнь в ауле чуть-чуть теплилась, словно в теле изнуренного чахоткой больного. Не люди — живые мощи бродили по окрестностям. Обессиленные дети сидели у дорог, безмолвно протягивая ручонки каждому встречному. Раньше, бывало, и без хлеба обходились, пили молоко, ели мясо. Теперь же не слышно было даже кроткого блеяния самого паршивого козленка.

Жуткое наступило время, когда, как говорят казахи, серебро и золото — все равно, что камень, а зернышко ячменное — желанная еда. Кромсали затвердевшие шкурки-подстилки, пересохшую сыромятину, варили их в казане и жевали до ломоты, до треска в скулах. В барханах, не стыдась, ели червей, муравьев и разную нечисть. В тот год — голодный год Змеи — джут не пощадил ни бедных, ни богатых. Вчерашний грозный

бай, перед которым трепетала вся округа, сегодня превратился в заурядного голодранца, рыскающего в поисках куска хлеба. Иные из богачей отдавали годами накопленные драгоценности и редкие вещи за полмешка неочищенной, подопревшей кукурузы. Наиболее предприимчивые заблаговременно подались с женами-детишками через Кызылкумы в узбекские края. Поговаривали, что там и хлеба, и всего вдоволь. Кто знает...

Каждый спасался от голода как мог. Глядя на спешно отъезжавших, Борибай однажды обратился к отцу: «Коке, может, и мы поедем вслед?» Старый чахоточный отец, которому с весны стало особенно худо, твердо сказал: «Сиди и не выдумывай. Я еще не встречал божьего раба, который отъел бы себе брюхо в чужом краю. Пусть лучше наши кости истлеют в родной земле, чем мыкаться где-нибудь на чужбине. Беда обрушилась на всех и от нее не убежишь!» Так и остался Борибай в поредевшем ауле на бескрайней убогой равнине. В душе он и сам рассуждал как отец. В самом деле, куда он поедет с престарелыми отцом-матерью, целым выводком детей-несмышленишек? Места здешние он знает. Исходил вдоль и поперек. Охотник заядлый, опытный. С ружьем. Как-нибудь проживет. К тому же не всю ведь жизнь голодать. Наступит пора, бог даст, снова сыты будут. В жизни все преходяще. Человек, говорят, и к аду привыкает. Надо терпеть: побурчит в брюхе и перестанет. Сегодня голоден, завтра — сыт. Крепись, джигит! Не унывай. В течение многих веков сложилась эта нехитрая философия степи.

Как обычно, с берданкой за спиной отправился Борибай на охоту. Ходил по окрестностям «Кырык жайна», настороженно всматривался в каждый кустик. Но не попадались ни зайцы, ни фазаны. Солнце поднялось высоко. Вдали, у горизонта, зыбился мираж. Накануне вечером обрушился на степь ливень, солончаки вздулись, превратились мигом в топь, в болота. А теперь того ливня и следа не осталось. Словно и не было его. Такыры в причудливых трещинах серели вокруг громадными проплешинами. Человеку несведущему солончаковая равнина вообще кажется странно переменчивой: после обильных дождей она мгновенно преображается, лужи на иссохшей почве кажутся сначала желтыми, потом обретают синеватый с прозеленью оттенок, но каких-нибудь

пять-шесть часов спустя до последней капли испаряются, и все вокруг обретает прежний бесцветно-сероватый лик.

То здесь, то там торчат редкие и чахлые солончаковые растения: чернобыл, биюргун. Вдоль оврагов и заводей, спасаясь от жгучего солнца, растет корявый красный изень. Вот, пожалуй, и все признаки жизни в этой голой, унылой пустыне. Борибай понимал, что теперь ему уже нечего надеяться на удачу. В полдень чуткого фазана не вспугнешь, не подстрелишь. Фазаны прогуливаются лишь по утренней прохладе да ближе к вечеру, когда спадает жара.

Он закинул ружье за плечо и напрямик, через громадный такыр, пошел домой. Прокопченная, в заплатках юрта, тундук<sup>1</sup> которой был наполовину откинут, сиротливо стояла на отшибе. Все вокруг заросло буйной полынью, джингилом-тамариском. Некому щипать, топтать траву. Раньше, бывало, возле аула чернела плешью истоптанная скотом земля, вихрь поднимал пыль столбом, и воздух дрожал от рева верблюдов, ржания коней, блеяния овец. А теперь непривычная тишина нависла над аулом. Грустный, подавленный, с трудом волоча ноги, Борибай вошел в юрту.

Пролежал он, свернувшись, до самого обеда. В животе урчало, неприятно посасывало, но он плотно закрыл глаза, пытаясь уснуть, забыться хотя бы ненадолго. Тщетно. С некоторых пор он замечал, что сон не идет к голодному. Уже третьи сутки он положит кишки одним чаем. Да и какой там чай! Коричневая, мутная водица, настоянная на поджаренном ячмене вперемешку с травой — желтоцветом. Правда, в доме имелось немного сушеной зайчатины, но ею пробавлялись малышня да старый чахоточный отец. Да и что для него кусок зайчатины? Раз глотнуть, и только. Как назло, и дичи-зверья почти не стало. Мыслимо ли: за три дня ничего не подстрелил. Видно, совсем худо будет. Поневоле ноги протянешь. Мало ли сейчас народу гибнет? Сколько опухших с голоду! А он охотник, добытчик, и по сравнению с другими, считай, живет еще в «сытости». Грешно бога гневить, на судьбу жаловаться. Ружье есть, порох есть, не ленись только...

---

<sup>1</sup> Тундук — квадратная кошма, покрывающая верхний деревянный круг юрты.

Он был известен во всей округе. И состояние имел вполне приличное, и уважением пользовался — многим не чета. Но года три тому назад его шальной, беспутный братец Ерубай озорства ради выкрал плосконосую дочь аргинского бая в стороне Телькуля, которая была сосватана за другого. Дело, как и следовало ожидать, приняло скандальный оборот. Оскорбленные и озлобленные барымтачи в отместку угнали почти весь скот Борибая, и за какой-то год оказался он у пустого очага. А тут обрушился как раз и пустоглазый джут. Лихой братец, почуввав беду, одним из первых покинул насиженные дедовские места. Среди зимы, ни с кем не посоветовавшись, подался со своей плосконосой зазнобой на юг, к узбекам. Но, видно, не сладко пришлось ему там. Вскоре дошли слухи, будто продал он свою молодуху сладострастному купцу-персиянину, а сам пошел бродяжничать, как бездомный пес. Вот так, опозорив и разорив семью, сгинул в чужом краю бестолковый братец. Еще недавно Борибай был джигит — хоть куда: плотный, тугощекий, с холеными тонкими усиками. Теперь остались кожа да кости. С утра до вечера бродит по унылой степи, как неприкаянный, голодно озирается вокруг, надеясь, что промелькнет поблизости фазаний хвост. И, должно быть, совсем уже отуманились мозги: кто-то прошмыгнул под кустом биюргуна, и он, лихорадочно рванув ружье с плеча, ударил дуплетом, решив, что это косой попался. Подбежав с гулко заколотившимся сердцем, он увидел суслика, лежавшего на боку, вытянув передние, еще дрожавшие ножки; из оскаленной пасти сочилась кровь. Борибай брезгливо отвернулся.

До сумерек таскался он по степи. И напрасно. Еле дотащившись до дому, Борибай тяжело опустился на кошму и лег, отвернувшись к стене.

— Не отчаивайся, сынок. Что тут поделаешь? — стал утешать хворый отец. — Вспомни: ведь возле Тущи-куля немало заводов и стариц. В половодье их заливает, а потом река уходит. Не может быть, чтобы в них не осталось рыбы. В прошлую осень, помнится, неожиданно похолодало, и снег выпал раньше времени... Так что, милый, не шляйся попусту, а отправляйся-ка с утра пораньше туда. Авось не с пустыми руками вернешься.

Слова старого отца заставили Борибая поднять голову. Он ничего не сказал и, чтобы отвлечься от тягостных



дум, начал сосредоточенно протирать маслянистой тряпичей ружье.

\* \* \*

Наутро он встал еще до рассвета, а когда солнце поднялось на высоту копыя, Борибай был уже возле Туши-куля. Дойдя до небольшой, в форме чаши старицы, густо заросшей по краям зеленым кураком, он остановился, нетерпеливо скинул выцветший, ветхий камзол, закатил штанины до самых бедер и, поплевав на ладони, крепко стиснув острогу, вошел в воду. Она была странно теплой. Вязкая тина, водоросли опутали ноги. Пузырясь, поднялся скользкий ил. Уже припекало. Казалось, солнце теплыми ладонями оглаживало плечи, спину. Борибай почувствовал вдруг легкость во всем теле, бодрость, словно в предчувствии удачи. Не может быть, чтобы в этой тинистой заводи не водилась рыба. Как он мог забыть, что в прошлом году неожиданно нагрянули холода, и старицы не успели покрыться льдом, как пошел снег. А в таких случаях, говорят, рыба слепнет. Потом всю зиму бедняга томится подо льдом, зарывшись в ил, а весной всплывает на поверхность, тычется в прибрежную осоку, ничего не видя, не замечая вокруг. И тогда, если изловчиться, ее можно ловить даже голыми руками...

Борибай, держа наготове острогу, осторожно, чтобы не замутить воду, переставлял ноги. Стайка мелких, с мизинец, рыбешек у его ног шарахнулась во все стороны. Почти рядом проплыли два крупных сазана. Однако он не успел замахнуться острогой. Да и действовать надо наверняка, чтобы не упустить удачу. Борибай уже заметно отошел от берега, вода была выше колен, и тут он вдруг замер, затаил дыхание. В нескольких шагах от него у белесых стебельков камыша, лениво шевеля розовыми плавниками, нежилась в нагретой воде большая, плотная стая сазанов. Недолго раздумывая, метнул Борибай острогу. Она вонзилась с такой силой, что короткое древко задрожало. Поднялся густой ил, будто подхватило ветром пухляк в степи. Разом все взбаламутилось вокруг. Борибай вытащил острогу и вместе с ней на двух зубцах — двух громадных, толстобрюхих сазанов. Бока их на солнце отливали золотом, в руках чувствовалась приятная тяжесть добычи. Таким способом

Борибай очень скоро поймал с десяток крупных — один к одному — сазанов, наполнил холщовую торбу, вытер пот со лба и вышел на берег. Быстро собрал сушняк. Из кармана камзола достал кремьень с огнивом (без этого какой охотник рискнет блуждать в степи!), прижал к камню пучок ваты, ловко высек огонь. На ярко пылавшем костре зажарил двух кое-как очищенных и промытых сазанов и съел их жадно, даже не ощутив вкуса. Он тут же почувствовал необыкновенное блаженство, приятную истоми и, поглаживая живот, прилег под кустом джунгила. Но вскоре ему стало не по себе: сильно заколотилось сердце, зашумело в ушах, начало подташнивать. Вспомнились чьи-то слова: после длительного голодания опасно сразу помногу есть. Можно запросто богу душу отдать. Он испугался, вскочил, залег в воду, долго плескался, мочил голову и, наконец, почувствовал облегчение. Тяжесть в желудке рассосалась.

Солнце уже стояло в зените. В такую жару рыба в два счета протухнет. И до аула не донесешь. Бояться, однако, нечего. Уж чего-чего, а солонцы встречаются в этом краю на каждом шагу. На дне высохших озерков соль лежит грязновато-серыми слоями. Ее казахи истари употребляют в пищу. Пользуются ею и в лечебных целях. Вон сверкает в лучах солнца обмелевшее и высохшее русло Туши-куля. Это выступила соль.

Борибай почистил всю рыбу, вывалял в соли, сложил в торбу и подался в аул.

Шел не торопясь, по бездорожью, по не тронутой конскими копытами равнине. Прислушивался к пению жаворонка, а потом и сам начал напевать себе под нос веселую какую-то мелодию. Ни начала, ни конца. Странно: когда брюхо сыто, и заботы сразу улечиваются, и все так радостно, празднично вокруг становится. И солнце вроде бы ярче светит. Шел Борибай легко, бодро, выпятив грудь, и вели его приятные, безмятежные думы... Вот это, значит, повезло. И не страшит теперь уже голод. Слава богу, рыбы в этих старицах хватит ему, чтобы прокормить своих голопузых. Не пропадут. Лишь бы никто ничего не узнал, не пронюхал. Иначе за два-три дня вычерпают все старицы-пруды. Он единственный кормилец и обязан беречь семью. Не время сейчас о других думать. Смотри, чтоб сам не околел.

Солнце еще только склонилось к западу, когда он дошел до аула. Появляться на глазах людей с добычей в мешке было бы совсем некстати. Он решил дожидаться темноты и прилег у склона холма. Должно быть, намутился за день и не заметил, как уснул. Проснулся, почувствовав, что продрог. Открыл глаза и поразился. Над ним висела полная луна. Все утонуло в ее молочном свете. В неземной тишине выбится голубоватый холм. Мир, казалось, погрузился в безмятежно-сказочный сон.

\* \* \*

Вот так неожиданно-негаданно заглянула удача в оскудевшую юрту Борибая. Соседи, знакомые вскоре почуяли, откуда так сладко тянет иногда жареным. В отсутствие хозяина стали осторожно расспрашивать детишек, но они, успевшие познать муки голода, упорно отмалчивались. Так прошла неделя-другая. Вся семья кормилась рыбой из старицы. Как-то отец, оставшись наедине с сыном, намекнул, что грешно пользоваться тайком божьим благом, нужно поделиться с людьми, но Борибай только разозлился и приказал отцу, чтоб он помалкивал.

\* \* \*

Сегодня он возвращался в аул позднее обычного. Не густо было в холщовом мешке. Не раз исходил он от берега до берега старицу, намаялся крепко, но весь улов — пять-шесть небольших сазанов. Ну, что ж, утешал он себя, видно, раз на раз не приходится, нужно довольствоваться тем, что есть, и уповать на завтра. Он быстро собрался и пошел привычной дорожкой домой. Только какая уж дорожка в пустыне? Еле заметная тропинка, заросшая верблюжьей колючкой и лиловой корявой полынью, вела к аулу. Тень заметно удлинялась, настал намаздыгер — пора послеполуденного намаза. Неподалеку промчались вдруг зайцы, прошмыгнула, мелькнув рыжим хвостом, лиса, и бывалый охотник встрепенулся весь и с досадой подумал, что как назло не взял с собой ружья.

Он взобрался на бугорок, занесенный песком, сбросил с плеча мешок, решив присесть, снять заскорузлые, старые сапоги, перемотать портянки на натертых ногах,

и только было опустился на одно колено, как вдруг недоброе ощущение будто пронзило его. Он вздрогнул, мгновенно оглянулся и тотчас увидел два черных глазка направленной на него двустволки. Расстояние между ним и ружьем было не более пяти-шести шагов, и в голове его мелькнула мысль, что до трезубой остроги, только что отброшенной в сторону, он не успеет дотянуться.

— Убери руки! Стрелять буду!— раздался неприятный, сиплый голос.

Обросший, в грязных лохмотьях верзила, широко расставив ноги, целился в него. В ввалившихся глазах застыл голодный блеск, щеки запали, грудь распахнута, руки отчего-то мелко-мелко дрожат. Не человек — страшилище!

Борибай выпрямился. Подавляя страх, намеренно простодушно сказал:

— Эй! Что надо? Убери свою колотушку!

Одним глазом, однако, покосился на острогу. Незнакомец явно затевал что-то недоброе и вовсе не намерен был вступать в переговоры.

— Кинь сюда мешок с рыбой! Живо! Не то мигом отправлю в рай.

Голос гудел, будто из бочки. Борибай пустился на хитрость.

— Откуда ты взял, что в мешке рыба? Напрасно заришься, милоч.

— А что там?

— Тряпье. Рубаха, портки.

— Нашел дурака! Я слежу за тобой с самого Тущикуля. Знаю!

— Зачем тебе протухшая рыба? У тебя ружье. Дичи-зверья вокруг полным-полно. Вот и поживись!

— Некогда мне тут с тобой язык чесать, понял? Заткнись и давай мешок, не то на месте уложу!

Борибай струхнул не на шутку. Как ему в безлюдной степи от страшилища этого отвязаться? До аула далеко, ни одна живая душа на помощь не успеет. Делать нечего, подошел к соблазнительно бугрившемуся в сторонке мешку. Верзила, выставив ружье, настороженно следил за каждым его движением. Борибай поднял мешок и швырнул к его ногам грабителя.

— На, подависы! Отольются тебе детские слезы, изверг!

Тот ловко сграбастал добычу и торжествующе усмехнулся. Весь вид его говорил: «Ну вот, давно бы так! А то попусту голову морочишь».

Потом, не торопясь, развязал мешок, заглянул в него и, убедившись, что там действительно лежит рыба, пошел прочь.

И тут Борибай взорвался. Отпрянув, схватил острогу и в бешенстве, брызгая слюной, бросился на опешившего насильника.

— Отдай ме-ме-мешок! Заколю!

И то, что у врага двустволка, и то, что по сравнению с нею острога — жалкая игрушка, в этот миг напрочь вылетело у него из головы. Он подсознательно чувствовал только одно: какой-то бродяга, оборванец, средь белого дня отнял у него добычу, лишил его детей единственной пищи, унизил, оскорбил его и потому лучше уж погибнуть, чем снести такой позор.

У верзилы, должно быть, не было больше желания связываться с ним. С презрительным спокойствием закинув ружье за плечо, он смерил его взглядом, пророкотал:

— Не ерепенься, батыр! Опомнись! Из-за двух-трех рыбешек не подохнешь. Наловишь завтра еще. Но то, что промышляешь втихомолку божьим даром, не делает тебе чести, конечно. Я силком отнял у тебя эту торбу, чтобы проучить, наказать. Не думай, что я отъявленный разбойник с большой дороги. Или шакал голодный. Нет! Но учти — завтра же приведу сюда, к этой старице, всю свою голытьбу. Разве не говорят казахи: «Один не да-вись, лучше поделись», а?

В груди Борибая заныло, будто он проглотил отраву. Э, негодяю этому, значит, мало, что он отнял рыбу, он еще собирается своих голодранцев, какую-то шантрапу облагодетельствовать. Э, нет, браток. Не выйдет! Борибай, распаляясь, еще грозней надвинулся с остройгой.

— Сейчас же отдай мешок! Слышишь?!

Голос его срывался, зубы выстукивали дробь.

Верзила и ухом не повел. Только ухмыльнулся.

— Размахался копьём, глупец! Эдак ненароком потроха мои выпустишь. Боишься, рыбы в старице всем не хватит? Хватит! И не пугай меня напрасно. Пуганый.

— Да я тебя! — кипятился Борибай.

— Отстань! Пошутили и довольно. Не больно охота трепаться с тобой.

Верзила повернулся и пошел, не оглядываясь, по склону песчаного бугра. Слепленный яростью, Борибай, целясь в голову наглого насильника, метнул что было силы острогу. И то ли дрогнула рука, то ли сама смерть обошла его врага, но острога, описав дугу, пролетела мимо. Верзила резко остановился, глянул, будто не веря глазам, на острогу, вонзившуюся рядом в песок, потом повернулся к Борибаю. Тот стоял с открытым ртом ни жив, ни мертв. Незнакомец, ничего не сказав, махнул рукой и широко, вразвалку, зашагал дальше. Борибай долго смотрел ему вслед. Станный путник, встретившийся ему в безлюдной степи, уменьшаясь, все удалялся и вскоре будто растворился в мареве...

Одинокий и жалкий, застыл Борибай на гребне песчаного холма. Что это было — сон или явь? Он, не сказавший за всю свою жизнь никому грубого слова, слышавший всегда тихоней, не способный обидеть овечку, только что покушался на чью-то жизнь? Пытался убить человека? И ведь мог убить, мог! Господи, он ли это? Какой злой дух вселился в него? Что стало с ним? С жизнью? Ради презренного брюха готовы друг другу глотки перегрызть. О, создатель милостивый, падаю ниц перед твоим великодушием! Уберег ты несчастного грешника от смертоубийства, отвел беду.

...С тех пор прошло ни много, ни мало — шестьдесят лет. Про холод и голод забыли нынче люди. И только древние старики, живые свидетели давно минувших дней, иногда, словно страшную сказку, рассказывают о невиданном голоде, охватившем тогда эти края, о том, что едва не вымер народ и только благодаря рыбе в мелких старицах вдоль Тущи-куля спаслись люди от казалось бы неминуемой гибели. Теперь от тех стариц и заводей и следа не осталось. Изменилась природа. Исчезли прежние русла. Обновилась земля. И только редкие болота да проплешины солончака в бывшей убогой полупустыне, где нынче раскинулись щедрые рисовые поля, напоминают о далеком, невозвратном.



# СОДЕРЖАНИЕ

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Жар-птица (повесть) . . . . .     | 5   |
| Излучина (повесть) . . . . .      | 114 |
| Спи спокойно, ревизор! . . . . .  | 159 |
| За пустынным горизонтом . . . . . | 178 |
| Когда цвела джида . . . . .       | 194 |
| В голодный год Змеи . . . . .     | 214 |



## Оразбек Сарсенбаев «ЮЖНЫЙ ГОРИЗОНТ»

(Повести и рассказы)  
(на русском языке)

Редактор Н. Акимбеков. Художник Ю. Юрьев. Художественный редактор А. Смагулов. Технический редактор К. Зауренбайулы. Корректоры Н. Григорьева и Т. Чеснокова.

Сдано в набор 14/XI 1974 г. Подписано к печати 28/I 1975 г. Бумага тип. № 1.  
84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>=7 п. л.=11,76 усл. п. л. (Уч.-изд. 11,86 л.). Тираж 100 000 экз.  
Цена 51 коп.

Издательство «Жазушы», г. Алма-Ата, 480091, пр. Коммунистический, 105.

Заказ № 1439. Фабрика книги Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров КазССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.





